

МИХАИЛ ДАДАШЕВ

УЕТА
УЕТ

ЭЛБ-ОА 1995

МИХАИЛ ДАДАШЕВ

Суета
сует



Михаил Дадашев

**Суета
Сует**
РАССКАЗЫ
ПРЯТАН

НАЛЬЧИК
издательский центр
«Эль-Фа»

1995

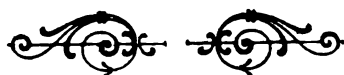
Михаил Дадашев — член СП России, тат по национальности, автор ряда повестей, рассказов и пьес. Живет в древнем Дербенте — втором по величине городе Дагестана.

Литературная деятельность в семье Дадашевых традиционна: известным дагестанским поэтом был его дядя Манувах Дадашев, его прадед — Хлгичи-эми Дадашев был первым татским сказителем.

Д 4702010201-059 без объявл.
Т43(03)-95

ISBN 5-88195-145-X

© М. Дадашев, 1995
© М. Горлов, оформление, 1995
© Издательский центр «Эль-Фа»,
1995



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИГЕ

Я с большой радостью пишу эти строки, поскольку, волею судьбы, знаком с процессом работы автора над данной книгой. Помнится, еще в начале семидесятых годов на одном из литературных вечеров в Дербенте М. Дадашев неожиданно для меня начал читать свои притчи. Слушатели восторженно приняли эту новую работу писателя. Заинтересовали притчи и пишущего эти строки. Я посоветовал Дадашеву не ограничиваться двумя-тремя притчами, а продолжить эту своеобразную литературно-исследовательскую работу, ибо видел в ней совершенно необычное и безусловно интересное для читателя дело. Дадашев тогда еще сказал, что он давно занимается фольклором, часто беседует с аксакалами, записывает прозвучавшие из их уст наиболее поучительные, наполненные народной мудростью, предания или рассказы.

И вот перед нами более шестидесяти притч — плод многолетнего труда автора. Примечательно многообразие их тематики: они о любви, о справедливости, о слове, об удаче, о терпении, о правде, об обмане и т. д. Иными словами, в этой далеко не шаблонной форме повествования автор без назидательного нажима, деликатно и педагогично приглашает читателя к раздумью о целом ряде явлений в нашей повседневности, независимо от того — позитивны они или негативны.

Как правило, притчи уводят нас в далекое прошлое, поэтому мы встречаем в них падишахов, визирей, ханов, мифические существа и прочих архаичных героев. От этого никуда не денешься, ибо притча — древний фольклорный жанр, природу которого ломать было бы бессмысленно и несправедливо.

К чести автора, он бережно отнесся к собранному материалу, стараясь сохранить в них мудрость народа с ее весьма древними истоками. Однако настоящие притчи являются не просто обыкновенным пересказом услышанного автором от его мудрых земляков, в большинстве своем это совершенно новые «самоцветы» писателя.

Я считаю главным достоинством работы Дадашева максимальное приближение идейной направленности каждой притчи к наболевшим вопросам сегодняшнего дня. Судите сами, разве с повестки дня нашего общества сняты вопросы, скажем, о семейной верности, о правде и справедливости, об обмане и алчности, о консерватизме и потребительском отношении к жизни? Ответ может быть только однозначным: конечно не сняты. Именно поэтому, как мне представляется, автор использует традиционный прием: почти каждая притча имеет проекцию в сегодняшний день.

Для примера сошлюсь на притчу о сатане. В селении Мюшкюр на годекане колхозник Бобо, виноградарь по специальности, рассказывает о своих производственных делах, и как бы исподволь разговор переводится на, казалось бы, абсурдную тему — где прячется сатана. И тут другой колхозник в забавной и поучительной форме рассказывает притчу, из которой следует, что сатана прячется в нас самих, в людях! Не могу не воздать должное мудрости этой притчи, как, впрочем, и многим другим.

Название книги «Суета сует» заставляет задуматься о проблемах человеческой жизни. Этим она интересна, необычна и, уверен, полюбится читателю.

Н. И. Алиев,
писатель

ИРЯТЧИ
РАСЪАЗЫ



Рассказывают, что в далекие времена, когда цари иранские, встревоженные набегами гуннов и хазар, между горами Кавказскими и морем восточным строили великий город с дивными каменными стенами, жил неподалеку от тех мест коварный бек. Решил он в горном ущелье, у берега говорливой реки, что стремительно стекала с крутых вершин, возвести на земле отцов подобающий ему дворец.

Строили его три известных в округе каменных дел мастера, которые с рассветом приступали к работе и лишь на закате возвращались в свои села. Среди гор, где человека с рождения до самой смерти сопровождают скалы, выросло немало искусных мастеров по камню, чьи филигранные творения по сей день изумляют потомков.

Но стал замечать бек, что один из мастеров был каким-то особенным, не похожим на двух других: камни кладутся им в стену ровно и с одного раза, он не тороплив, но и не

медлителен, от товарищей не отстаёт, смотрит и говорит с достоинством, без подобострастия, впечатляет основательностью, подобно дереву с могучими корнями или дворцу на крепком фундаменте. Каждый день после работы он неторопливо умывался у родника, без суеты приводил себя в порядок, и если его товарищи стремглав бежали домой, он шел спокойным шагом уверенного в себе человека. Удивлялся бек таким вельможным повадкам райята, его горделивой уверенности, и в глубине души порой возникали въедливые сомнения. «Вельможа», — с насмешкой называл он его про себя, решив, что есть во всем этом какой-то секрет...

И с твердым намерением открыть эту тайну вознамерился бек побывать в домах своих мастеров.

Начал он с двух других, а «вельможу» решил посетить последним, помня, что истина познается в сравнении.

На следующий день, когда каменщики приступили к обеденной трапезе, бек, переодевшись в нарядный костюм, направил своего коня к дому одного из райятов. На стук в дверь вышла жена мастера, красивая женщина средних лет, одетая, необычно для будней, в нарядное голубое платье.

— Извините, ханум, — заметив неподдельный испуг в ее глазах, заговорил бек. — Я и мой конь устали с дороги, — он показал на привязанного к дереву иноходца, — не разрешите ли вы отдохнуть у вас часок-другой...

— В доме нет хозяина, — стыдливо опустив голову, проговорила женщина.

— Я ненадолго, — с какой-то вкрадчивой мягкостью сказал бек и протянул золотой дерхем. — Вот, возьмите, пожалуйста, за постой...

Увидев золото, женщина оторопела: долг замужней — не пускать в дом чужого мужчину — в этот миг боролся в ней с присущей жадностью, но желание иметь много денег и возможность запросто, без особых затрат, получить их одержали, наконец, верх, и она не устояла.

Проводив гостя в кунацкую, она принесла ему чай и направилась было уходить, когда у самой двери бек мягким окликом остановил ее:

— Извините, ханум, вы не скажете, как проехать до местечка N?

Не поднимая головы, женщина ответила.

А потом доброжелательный и душевный тон гостя, его щедрость (за чай он выбросил на стол еще один золотой!) настроили ее на откровенность, и она рассказала, что у нее подрастают двое детей, которые сейчас забавляются нехитрыми играми на бахче, за домом, что муж-каменщик работает нынче за какие-то гроши у местного бека, что радостей в жизни почти нет...

Прощаясь, бек попросил разрешения завтра в это же время, на обратном пути, побывать здесь еще раз, и женщина без колебания согласилась. В знак благодарности и неподдельной теплоты бек вложил ей

в ладонь еще один дерхем, чем окончательно расположил к себе хозяйку дома, и как бы невзначай погладил ее упругое плечо.

К обеду следующего дня жена каменщика уже ждала гостя: накрыла стол яркой, нарядной скатертью, приготовила вкусный обед, а детей тем временем отправила к своей матери. Бек обратил внимание на ее изящный наряд и притворно похвалил ее, отчего хозяйка вознаградила гостя кокетливой улыбкой. Гость давал ей один дерхем за другим: за теплоту и внимание, за вкусный обед, потом за трепетное рукопожатие, вслед за этим за поцелуй, потом еще... И так в каждую новую страницу их совместной истории он вкладывал по золотому, пока с жаром не дочитал ее до конца...

А жена второго каменщика оказалась угрюмой и несловоохотливой. Отказавшись от платы, она все же приняла гостя и предложила ему кунацкую, а затем вкратце поведала, что нажила с мужем четверых детей, а тот теперь тайком бежит к другой. По ее морщинистым щекам текли горячие слезы, и беку по-человечески стало жаль эту преждевременно постаревшую женщину...

В дом третьего мастера бек ехал в трепетном ожидании нового приключения. Он строил разные предположения, а потом сам же их отметал. Но то, что ему довелось увидеть на пороге дома «вельможи», превзошло все ожидания: перед ним стояла редкой красоты молодая женщина...

В первую минуту бек стоял как заморожен-

ный и не мог отвести глаз, потом, словно в забытьи, произнес:

— Вот это лань!

Женщина, словно горная серна, стремительно взбежала на порог и хотела захлопнуть дверь перед этим неизвестно откуда взявшимся нахалом, но бек, опомнившись, не дал закрыть дверь и взволнованно заговорил:

— Красавица! Поверь, я объехал все от Балха до Тавриза, во всей Албании для меня нет неизведанных уголков, но, клянусь этим светом, такого чуда нигде не встречал. Скажи, как тебя зовут?

Женщина, испугавшись, сперва попятилась назад, потом молниеносным движением схватила висевший на стене ятаган и возмущенно воскликнула:

— Или ты сейчас же уйдешь, душман, или я убью тебя!

— Ханум! — окончательно придя в себя и ухватив женщину за руку, мягко заговорил бек. — Не бойся, я не причиню тебе зла...

Ему стоило немалых усилий отобрать у нее ятаган. Когда обессиленная этой неравной борьбой несчастная и оскорбленная женщина осталась безоружной, она устало села на стул и заплакала.

...В комнате было чисто и уютно. В очаге горел огонь, кипел казан, видно, хозяйка готовила к вечеру ужин. В углу играл годовалый мальчуган, и когда он увидел плачущую мать, с трудом встал на ноги и, похоже, впервые в жизни, качаясь и широко расставляя непослушные ножки, пошел к ма-

тери; устав с непривычки, упал на руки ей, потом сел у подола материнской юбки и настороженно, с удивлением посмотрел на бека.

— **Вы потеряли намус, человек,** — плача, говорила женщина. — Ворвались в чужой дом...

Даже слезы были ей к лицу: бледность щек озаряла ее лицо больше, чем синий ночной небосвод айвовая луна, а за мокрыми **ресницами, как два яхонта, еще ярче сверкали вишенки глаз.**

— Но, ханум, я же не сделал тебе ничего плохого! — с величием и достоинством проговорил бек. — Я только хочу тебе помочь! Такой цветок не для этого бедного, заброшенного сада. Ты оглянись вокруг себя, здесь немудрено и завять скоро... Я богат, ханум! Я брошу к твоим ногам лучшие украшения. Ты — редкий алмаз, ханум, но не для этой бедной оправы! — Бек развел руками, указывая на ее окружение. — Поверь, я хочу спасти тебя...

— Меня? Спасти? — удивилась женщина, словно только последние слова и слышала. — От чего? От счастья? Да знаешь ли ты, душман, что я самая счастливая женщина?! Каждая вещь здесь, пусть самая дешевая, напоминает мне о любви и радости, вот и это дитя — плод нашей любви — моей и мужа, а того, кто дарит мне это счастье, кого я люблю больше жизни, я каждый вечер жду, как праздника! Уйдите, недобрый человек, мне не нужны ваши украшения... -

Смущенный бек, поняв всю тщетность своих уговоров, нарочито взорвался:

— Да знаешь ли ты, раба, с кем говоришь? Я твой Бог и судья, и все, все, что на этой земле: ты и твой муж, что строит мне дворец, сотни тысяч голов скота и райяты, идущие по моему приказу на смертный бой,— все принадлежит мне, беку! А ты, несчастная, вздумала мне перечить?! Я долго уговаривал тебя, а сейчас собирайся, поедешь в мой гарем..

Женщина вскочила с места, бросилась к его ногам и стала просить бека пощадить ее очаг, не гасить его огонь. Она слезно умоляла не растаптывать хрупкую чашу ее любви.

— Ты сейчас же поедешь со мной! — настаивал коварный бек.

— Нет! Не-е-т! — вскричала вдруг женщина.— Не бывать этому... лучше смерть! Убей, душман, или я... сама...

В следующую секунду она подбежала к очагу, схватила нож и направила его к своей груди. Лишь чудом успел бек перехватить ее руку и предотвратить роковой удар.

— Не надо, ханум,— мягко сказал он, поразившись ее непреклонности. Потом, улыбнувшись, добавил: — Открою один секрет: я шел сюда с тайными мыслями и, увидев твою красоту, чуть не потерял рассудок, но теперь склоняю голову, ханум...

Бек возвращался на своем иноходце неторопливо, словно уставший после тяжелого боя воин. Только теперь понял он, в чем тайна того искусного мастера-каменщика...



Три месяца длилась ее болезнь, и лишь к исходу зимы хворь стала проходить. Женщина блаженно замирала от яркого солнца, от робкой радости и надежды на прибавление сил и улыбалась безо всякой причины.

Словно вместе с природой пробуждалась и она сама.

Сегодня она попросила открыть окно, тяжело приподнявшись, села на постель и оперлась спиной на большие пуховые подушки, услужливо подложенные ей любящим мужем.

Глинистый бугорок за домом озолотился бодрыми цветочками мать-и-мачехи: листьев нет, а на каждом мясистом стебельке по желтой шапочке. Сирень проклюнула набухшие почки. Расцвел миндаль.

Усталыми, но лучистыми глазами смотрит женщина сейчас в окно и радуется солнцу, первой зелени, веселой болтовне пернатых, возвращающейся к ней жизни.

Несмотря на причуды молодой жены, особенно в последнее время, муж любил ее и старался быть предупредительным. Жили они дружно и в среднем достатке. Семилетняя дочь-первоклашка и годовалый мальчуган украшали их жизнь, наполняя ее смыслом и радостными хлопотами.

— Ой! — воскликнула больная однажды, увидев за окном знакомую женщину, и обратилась к мужу: — Вон видишь Гюльсюрх? Какой на ней красивый плащ! Я такой хочу!

— Хорошо, дорогая, — ответил муж, обрадованный ее выздоровлением.

Через день плащ был куплен.

— Ой! — воскликнула она в следующий раз. — Вон, Шекер, соседка наша. На ней шаль японская, я тоже такую хочу...

И эта просьба была удовлетворена.

Со временем просьбы женщины становились самыми невероятными; мир, открывшийся вдруг ее взору, вызвал в ней такое обилие желаний, что она, словно балованное дитя, требовала порой их немедленного исполнения, не считаясь ни со временем, ни с возможностями, обвиняя мужа при этом в черствости, эгоизме и жадности.

Но когда прихоти ее стали одна причудливее другой и они разорили вконец семейный бюджет, супруг оказался в тупике. После очередной просьбы он ласково взял ее руку, подсел к ней ближе и сказал:

— Ты знаешь, дорогая, я тебя очень люблю и готов сделать для тебя все, что ты пожелаешь, даже жизнь отдать. Но выслушай

меня, я расскажу тебе старую притчу, ты же любишь разные истории...

— Да, дорогой, рассказывай...

— Так вот, слушай... Была у падишаха единственная дочь — наследница его неслыханных богатств и царского престола, радость всей его жизни, да вот так же, как и ты, заболела...

— Спасибо, дорогой, за сравнение, — улыбаясь, проговорила женщина, ласково погладив руку мужа. При этом айвовые губы и щеки ее слегка порозовели.

Он тоже улыбнулся, но от тайной мысли, которая вдруг пришла ему на ум: «Вот что делает с женщиной даже косвенное сравнение», — а вслух продолжил:

— Тому, кто вылечит его дочь, падишах обещал целое состояние — хурджин золота...

— Наверное, желающих оказалось немало, — словно в забытии произнесла жена, а потом, спохватившись, вдруг добавила: — Извини, дорогой, я совсем разболталась...

И в самом деле, до самого конца рассказа она не проронила ни слова.

— Да, — подхватив ее мысль, продолжал муж, — желающих заполучить такое богатство было немало, но подлинных лекарей, знатоков человеческих недугов, среди них не оказалось. И потому затужил падишах и с ледяным в сердце страхом ждал скорой развязки. Но однажды... Ты не улыбайся, в жизни, наверное, так и бывает: однажды к поэту приходит нужное слово, к гению — великая идея, ребенок, чтобы стать человеком, неожи-

данно произносит певое слово, тонущий хватается за счастливую «соломинку», невесть каким образом вдруг оказавшуюся рядом... Так и здесь. Выискался вдруг лекарь, который взялся вылечить дочь падишаха и... вылечил. Счастливый шах приказал вызвать своего казначея и выдать спасителю дочери обещанную плату. А тот обратился вдруг к падишаху со странным вопросом:

«Великий падишах, позвольте обратиться к вам с просьбой?»

«Да, сын мой,— ответил с улыбкой счастливый отец,— говори, я буду рад выполнить любую твою просьбу».

«Могли бы вы, мой падишах, изменить условия нашего договора?»

«Все что угодно! — с готовностью ответил шах.— Но что ты хочешь?»

«Вот носовой платочек, с небольшим узелочком.— Лекарь показал его шаху.— Я прошу вас выдать мне столько золота, сколько он будет весить...»

«Что с тобой, сын мой, твоя просьба — одна-две монеты,— удивился падишах,— а я дам тебе в тысячи раз больше. Ты, наверное, шутишь?»

«Не шучу, падишах, нет,— отвечает лекарь,— так вы согласны исполнить мою просьбу?»

«Странный ты человек,— сказал вконец озадаченный шах.— Что ж, будь по-твоему... Казначей, исполни его просьбу!»

Принесли весы, положили на одну сторону платочек лекаря с узелочком, а в другую

чашу — одну, две, три, десять, сто золотых монет, но платочек все перетягивал.

Удивился шах, засуетилась вся его свита, краснел от злости вначале ухмылявшийся казначей.

На весы были положены все монеты казны, в ход пошли золотые слитки, потом драгоценные изделия, а конца все не было — платочек оказывался тяжелее. Не выдержал уже и возмущенный шах:

«Да что же в этом платочке, лекарь? Не колдун ли ты, не дьявол ли в человеческом обличье? — Но, заметив невинный взгляд молчавшего лекаря, приказал: — Неси, казначей, все, что есть в казне! Слово есть слово!»

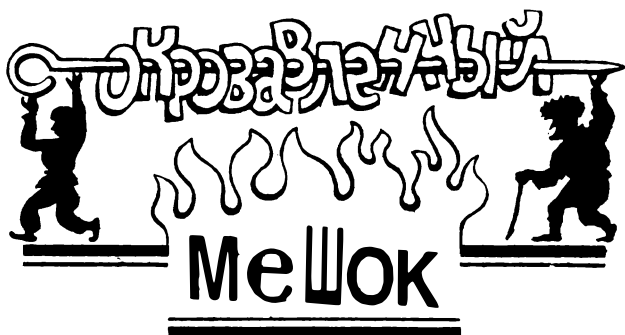
И когда на весы были положены все золото и драгоценности казны, когда по свите шаха прошел шепот недовольства и возмущения, когда коварный визирь намеревался уже арестовать этого «нахала», осмелившегося так жестоко надсмеяться над шахской доверчивостью, опасную ситуацию исправил сам лекарь.

Он взял платочек, развязал узелочек, и все, увидев его содержимое, ахнули от удивления...

— Что же было в нем? — не выдежала жена рассказчика.

— Глаз, дорогая, ненасытный человеческий глаз!..





Колеса поезда стучали монотонно и нудно, как старая заигранная пластинка. Ритм этот никак не вязался с моим внутренним настроением, и потому было как-то не по себе. Несмотря на уговоры двух молодых людей распить с ними бутылочку сухого вина, я наотрез отказался и взобрался на полку. Нет, не мирилось мое сердце, не принимало сознание — хотя я был тому свидетель, — что моего друга уже нет. Как это он однажды, узнав о моей болезни, запыхавшись, прямо с вокзала, влетел ко мне в кабинет и крепко обнял. «Что, пошаливает? — весело спросил он тогда, а потом тихо добавил: — Береги себя...» А себя не сберег, не берег, не умел этого делать... Не о нем ли сказал мудрый поэт:

Я стал нередко думать, став старше,
Что жизнь вершит порой неправый суд,
Что умирают лучшие скорее,
Что лучшие себя не берегут...

О нем, наверное. «Да, удивительно хрупка

и уязвима человеческая жизнь,— подумал я.— Словно мыльный пузырь из ребячьей трубочки: летит, блестит всеми цветами радуги, а потом — бух! И нет...»

Внизу раздался резкий звук граненых стаканов, и молодой голос произнес:

— Давай выпьем за верность нашу!

Друзья снова чокнулись и выпили.

— Э-хе-хе! — тяжело поднимаясь со своего ложа, заговорил четвертый пассажир нашего купе — седой, с морщинистым лицом старик. — Хорошие слова говорите, сынки мои, хорошие...

— Садитесь с нами, отец, — пригласили его молодые.

— Я уже свое выпил, — улыбнулся старик и, погладив седые усы, добавил: — Да, выпил...

Он удобно сел на полку, посмотрел в окно, словно искал там что-то, потом, повернувшись к молодым, хитро улыбнулся им и продолжил:

— Кхе... кхе... В молодости, ну, когда я был таким, как и вы сейчас, много у меня было друзей... Молодость, сынки, словно молния, быстра на все. Пришел я как-то раз к отцу и говорю: «Дай мне, отец, денег, я хочу выпить с друзьями». Дал он мне денег. В семье у нас так было заведено: все в один котел, и если надо — бери. Хорошо погуляли мы тогда с друзьями, весело... Пришел я к отцу второй раз, говорю: «Дай мне, отец, денег, я хочу выпить с друзьями». Посмотрел отец на меня как-то пронизывающе-присталь-

но, но снова, не сказав ни слова, дал денег. Я и их истратил с новыми друзьями. И так много раз я брал у отца деньги, чтобы пить и гулять с друзьями, а их у меня становилось все больше и больше... Кхе.. кхе...

И вот однажды, когда я в очередной раз попросил отца дать мне еще денег для новой встречи с друзьями, он усадил меня рядом с собой и осторожно спросил:

«Ты уверен, сын, что все те, с кем ты проводишь весело время, верные твои друзья?»

«О чем ты говоришь, отец? — удивленно спросил я его тогда. — Конечно...»

«Они будут с тобой как в радости, так и в беде?» — не унимался отец.

«Конечно! — снова уверенно отвечал я. — Да это же... такие ребята!..»

«Очень рад, сын, очень рад... В таком случае, — говорит он мне тогда, — ты можешь выполнить одну мою просьбу?»

«Конечно, отец, — снова удивился я, — о чем речь...»

«Вот и хорошо, спасибо, сынок, — сказал отец. — Там, во дворе, окровавленный мешок, в нем только что освежеванный мною баран. Ты видел его?»

«Нет», — снова, не понимая загадок отца, ответил я.

«Ничего, увидишь. А просьба моя вот какая, — продолжал отец, словно излагал соучастнику план намеченной операции. — Мы с тобой запряжем сейчас наш фаэтон, положим туда этот мешок и поедem к любому из твоих друзей...»

«Зачем?..» — невольно вырвалось у меня.

«Слушай дальше, — словно не замечая моего удивления, продолжал отец: — Я арабачи, так сказать, лицо постороннее... Ты же **зайдешь** к своему другу и скажешь ему, что **ты убил человека, и убитый, мол, в этом мешке, и пришел ты к нему за помощью: мол, надо спрятать этот мешок...** Идет?»

«**Но зачем, отец, этот маскарад?**» — ничего **не понимал я.**

«Ты обещал исполнить мою просьбу? — хитро взглянув на меня, спросил отец. — Так исполняй... Только, чур, все должно быть вполне серьезно».

Сказано — сделано. Запрягли мы фаэтон, отец бросил в него указанный мешок, и мы поехали в соседнее село к моему другу, с которым мы недавно пили.

Оставив отца во дворе, я постучался к другу в дверь сакли. Говорил я с ним недолго и вернулся удрученный.

«Он сказал, что в этом деле помочь не может, — стыдливо опустив глаза, ответил я на немой вопрос отца, — но ты не огорчайся, отец, мы сейчас поедем к другому моему другу, это здесь недалеко, мы только вчера вместе пили, он точно поможет».

Где-то в полночь мы приехали к дому моего нового друга. Но и от него я вернулся ни с чем. И так несколько раз в эту ночь друзья отказывались помочь мне в беде. Отец молчал, а я был в отчаянии, готов был заплакать от гнева и обиды.

Вот тогда, поняв мое состояние, заговорил отец:

«Знаешь, сын, не горюй, есть у меня друг в Мюшкюре, правда, много лет мы с ним не виделись. Поедем, может, он чем поможет...»

На рассвете мы подъехали к дому друга отца. На стук он сам открыл ворота и, увидев отца, ахнул от изумления.

«Вах! — улыбаясь, говорил он, обнимая сперва отца, потом меня. — Сколько лет, сколько зим! Заходите, дорогие, какая радость!..»

«Нет, подожди, — сказал отец, — дело есть...»

«Дело? — удивился хозяин, — говори, дорогой...»

«Беда случилась: в честном бою я убил своего недруга, вот он, в этом мешке. — Отец показывает на мешок в фэтоне. — Помоги его спрятать».

«Вах, о чем речь, если ты убил, значит, этот негодяй заслуживал этого, — решительно говорит хозяин и берет лопату. — Вот, где я стою, тут мы его и спрячем». И начинает рыть яму...

Тогда-то впервые за всю эту долгую ночь отец улыбнулся, обнял своего друга и с волнением произнес:

«Спасибо, дорогой, я и не сомневался, но дело не в тебе. Так, проверка одна требовалась. — Он снял с фэтона мешок, развязал его и вынул баранью тушу. Потом, обращаясь ко мне, добавил: — Вот что, сын, друзей найти в жизни очень легко: сел, выпил — вот

тебе и друг. А вот сохранить дружбу, быть верным дружбе, нести в сердце великое слово «друг» — трудная задача, и не каждый ее может решить. Верные люди, сын, о дружбе не говорят, ее молчаливо делают! Кхе... кхе...»

Старик закончил свой рассказ и умолк. Колеса поезда стучали монотонно и нудно, как старая заигранная пластинка. Я вдруг с болью и горечью вспомнил, что моего друга уже нет...





Цари персидские, кои в течение долгих веков господствовали на землях древней Албании, для укрепления своих границ не жалели ни средств, ни людских жизней. Могучие стены вырастали на путях северных варваров, «железными воротами» называли их неприятели, а на вершинах гор вечными памятниками народным умельцам воздвигались маленькие башни-крепости, огнем своих факелов извещавшие о приближении врага. Вот и была построена тогда редкой красоты башня — крепость Кемах, откуда прошлое смотрит в сегодня глазами полуразвалившихся бойниц...

Жил, говорят, в этой крепости лекарь Худодот, голубоглазый красавец, с душой чистой, как горный родник, а умением — равного не было в целой округе. Травами и кореньями, водами редких родников или словом добрым он исцелял умирающих, поднимал немощных, давал силу ослабшим, и со всех окрестных сел шли к нему так, как все живое тянется к свету.

Молва есть молва, иногда она правдива, а порой преувеличена, но очевидцы рассказывали, что видели у его дома раненого барса с перевязанной лапой и что понимал лекарь языки и повадки зверей.

В тот год и пришла в Кемах недобрая весть, что у ширванского шаха тяжело больна единственная дочь, несравненная Гюльбоор, что со всех концов вилайета пригласил шах знахарей, врачей да лекарей, но помочь больной никому не удалось. В траур, говорили, одеты шах и его приближенные, и тому, кто вылечит дочь-наследницу, обещана великая награда.

«Что ж, попробую и я,— решил Худодот.— Да поможет мне великая сила добра!» И с твердым намерением попасть к ширванскому шаху в Кебал собрался в путь.

...Снаряжали лекаря всем аулом: кто свежий чурек испек ему в дорогу, кто вкусный овечий сыр принес и положил в хурджин, кто бурдюк вина, чтобы путник мог утолить жажду. Так в горах наших было всегда — добро возвращалось добром.

Какими дорогами шел лекарь Худодот, где останавливался на ночлег и сколько дней был в пути, об этом никому не ведомо, но людская молва утверждает, что пришел он к шахскому дворцу уже под вечер, после того как молла пропел вечерний азан и городские ворота закрылись...

Надвигалась звездная летняя ночь, и уставший путник наш с сожалением отошел от закрытых ворот, присел у чинар, что росли

здесь в три ряда, утолил голод остатками еды из хурджина и облокотился о широкий ствол. Никем не нарушаемая тишина и тусклый свет шафрановой луны, пробившийся сквозь листву деревьев, окутали лекаря покоем, и он блаженно заснул.

Вот тогда и произошло невероятное, то, чего лекарь никогда ранее в себе не замечал и не мог объяснить в течение всей своей жизни: у спящего Худодота неожиданно-негаданно заговорили ноги.

— Друзья! — торжественно произнесли они. — Завтра утром откроются городские ворота, наш хозяин пойдет к шаху, вылечит красавицу Гюльбоор, и его ждет великое будущее. И знаете благодаря кому? Нам, ногам! Не было бы нас, не смог бы он прибыть сюда, значит, не могло быть и всего остального. Вот и получается, что мы — самые главные у человека. Недаром говорят: ноги кормят человека. И потому просим к себе почтения!

— Ну и ну!.. — возмутились руки. — Вы от скромности не скрючитесь! Почтения?! Да знаете ли вы, хвастунишки эдакие, кто такие руки?! Если хотите знать, именно руки создали самого человека! Если бы вместо рук были лапы, наш хозяин, словно зверь какой, ходил бы на четвереньках, и даже тот же трусливый волк одолел бы его. Да если у него не будет рук, как он будет прикасаться к больной, чувствовать ее кожу, органы, варить собранные травы и давать ей? Великим он станет только благодаря нам и никому другому. Главные — мы!

— Вот слушаем мы ваши речи и диву даемся, прямо сороки-балаболки,— заговорили уши.— Где вы спрятали совесть, без которой даже ангелы превращаются в дьяволов? Мир звуков,— мечтательно продолжали они,— мир музыки, чудесный мир любимых звуков и трелей соловья, и вдруг этого лишит человека... Представьте себе: наш хозяин глухой, а в крепость пришла весть о больной дочери шаха — первая ситуация, больная жалуется ему, что-то говорит — это вторая ситуация. Глухой мог слышать все это? Что же вы молчите? Так вот, если логически рассудить, приоритет за нами!

— Что ни говорите, но без меня тоже не обойтись,— проговорил нос.— В отличие от вас, я — один, и не могу говорить в два голоса, но я за себя постою. Я — защитник хозяина, главный санитар его армии. Не было бы меня, он бы погиб, задохнулся, его легкие погибли бы от грязи, пыли и вредных микробов. Без меня он был бы лишен величайшего чувства обоняния, запаха нежных цветов, морской воды, хвойного леса, весенней горной полыни. А скольким вредоносным пылинкам я преграждаю дорогу, охраняя своему господину жизнь! Я страж...

— Когда коня подковывают, и осел свою ногу сует,— ухмыльнувшись, сказал кто-то из спорящих, прервав речь носа в самом ее апогее.

— Вечно ты суешься, куда не следует,— горделиво вступили в спор глаза.— Недаром говорят: «Глаза невзлюбили друг друга,

и между ними вырос нос». Ты однажды воспользовался нашим разногласием и влез между нами, как «друг семьи»... А теперь молчи, когда говорят старшие, младшие должны сопеть в н..., в сопилку.— Они умолкли на секунду, а потом, собравшись с мыслями, продолжили: — Слепой хозяин — это горе и рукам, и ногам, и тебе, сопливому носу, и ушам, и всей той братии, которая тоже норовит что-то сказать здесь. Человек — это частица зелени лесов, сини морей и океанов, небесной голубизны, айвовой луны, мигающих, как глаза красавиц, звезд, белой березы и прекрасного огня. И только тогда он чувствует себя как дитя природы, когда все это видит! Жизнь — свет, темнота — отсутствие жизни. И потому мы надеемся, что вы поняли, какую великую миссию выполняем мы, служа человеку!

Установилась неловкая тишина, руки от предутренней прохлады ухватились друг за друга и теснее прижались к телу, ноги потерлись пятками, фыркнул и нос спящего, выбросив из своего волосяного бора какой-то застрявший ненужный комок.

— А обо мне вы почему-то забыли! — нарушив вдруг звенящую тишину ночи, заговорил язык.— Все вы так красиво и долго говорили о своей службе хозяину, словно поэты какие.— Да, правда ваша, вы слуги человека, а вот я... я — его господин!

— Ах ты, нахал, паразит, трутень, лентяй! — возмутились все разом.— Живешь в тепле, ни жары, ни мороза не знаешь, ни

труда, ни усталости, защищен, обласкан, неженка избалованная! Надо же набраться нахальства и нам такое заявить... «Господин!» Мы тебе дадим, «господин»...

Умолк язык, глубоко затаив обиду за унижения свои.

Забрезжил рассвет: черные краски ночи сменились на серые, зашелестели листья на верхушках чинар, чирикнула птичка, сбросив на голову спящего лекаря свою нужду. Молла, поднявшись на минарет, пропел утренний азан, и городские ворота открылись.

Кебал! Великий город древнего Ширвана. Голубые купола мечетей устремились к небу, ажурные окна роскошных дворцов улыбаются многочисленным гостям, ароматные запахи караван-сараев зазывают проголодавшийся люд, говорливо журчат живительные родники. И двух глаз не хватит человеку, чтобы охватить всю эту красоту.

Умывшись у родника, лекарь привел себя в надлежащий вид и направился к шахскому дворцу. Ждать пришлось недолго, здесь искренне рады были каждому, кто брался вылечить больную дочь шаха.

— Откуда ты, путник? — устало спросил вконец потерявший всякие надежды шах, когда лекаря привели к нему. — Ты молод и берешься лечить людей?

— Я из крепости Кемах, — с достоинством ответил Худодот. — Независимо от возраста, накопленный опыт помогает мне возвращать людям здоровье.

— В этом дворце побывали великие лекари

мира, сын мой, но, как видишь, все безрезультатно... Что же ты собираешься делать? — снова спросил шах.

— Я... я пришел... — В этот момент с бедным лекарем произошло что-то невероятное, он побледнел, как-то неестественно вытянулся, словно неведомая сила сковала и одурманила его мозг, и он, не выдержав этого напряжения, вдруг ослабевшим голосом произнес: — Я пришел убить вашу дочь, падишах!

Слуги и приближенные шаха всполошились и бросились на лекаря.

— Да он сумасшедший! — возмутился шах, — дайте ему хороших плетей и бросьте пока в подземелье... А завтра решим, что с ним делать дальше. Надо же...

Избитого, полуживого лекаря бросили в подземелье, чтобы завтра же отправить на эшафот.

— Ох! — стонали израненные и кровоточащие ноги. — Еще бы немножко — и нас бы эти палачи вконец изломали! Ох!..

— Ой, ой, ой, — завывала рука, что сползла с груди лекаря и ударилась о каменный пол подземелья. — Что они с нами сделали, эти негодяи?! Ой, сил больше нет...

Тихо стонало изрезанное ухо, видно, плетью пощадила и его, когда хозяин хотел лягнуть одного из палачей. Задыхался от возмущения и боли разбухший нос, у ноздрей которого накопилась засохшая кровь. Слезясь, расплылся опухший глаз. И ему было негладко.

И вдруг, в этом коловороте стонов и жалобных причитаний, наполнивших подземелье, раздался громкий хохот.

— Ха-ха-ха! — смеялся язык. — Что? Больно? Стонете? Так вам и надо, дураки! Это за вашу самонадеянность, — выговорил он всем больным членам хозяина. — Я говорил, что я господин над человеком, а вы не только не поверили, а оскорбили, унизили меня. Что смотрите, словно с луны свалились? Да, да, достаточно мне было сказать шаху правду, что пришел не убить, а вылечить его дочь, как все бы изменилось: вы, ноги, не были бы изранены; ты бы, рука, не была вывихнута, а ты, нос-хвастунишка, так уродливо не растолстел; да и другим бы не досталось. Ну, теперь вы убедились?

— Да! Да! Убедились! — в один голос заговорили раненые. — Ты действительно господин! Ты всемогущ!..

— Я и сейчас могу все изменить! — уверенно заговорил язык и с высоты своего положения горделиво взглянул на них. — Я могу человека и великим падишахом сделать, и несчастным рабом!..

Все хором стали его просить, умолять, не забывая при этом расхваливать вчерашнего «нахала».

Лекарь не спал: боль во всем теле не давала ему возможности заснуть. Он с открытым от удивления ртом слушал весь этот разговор и не верил своим ушам. И когда его вдруг пронзила мысль о скорой гибели, он, собрав весь запас своих жизненных сил, подполз

к дверям своего каземата и здоровой рукой стал стучать и звать стражу.

— Ты еще живой, ненормальный? — удивилась стража. — Что, еще хочешь получить? Ха-ха-ха...

Лекарь стал просить их отвезти его к шаху, он взывал к их совести, во имя их матерей и детей просил о сострадании, приводил сотни доводов, десятки примеров и, наконец, заключил: «Даже смертнику разрешают сказать последнее слово!» И убедил: у этих, казалось бы, бессердечных людей вдруг открылся затаенный ларец сочувствия и его повели к шаху.

— О мой справедливый шах! — начал лекарь свое слово. — Я передам вам дикий разговор, невольным свидетелем которого стал на каменном полу вашего подземелья. Я поведаю вам о тайне, о существовании которой и не подозревал...

Он говорил с таким вдохновением, красноречием, что все, кто слушал эту речь, были поражены. Казалось, перед шахом был не простой лекарь, что пришел сюда в поисках удачи и счастья, а умудренный жизнью оратор, трибун, равного которому не было во всем свете.

И шах поверил лекарю...





Зима в тот год выдалась на редкость снежная, но чтобы в первый день марта в наших южных краях пошел такой густой, всеобволакивающий снежный вал, такого не помнили и старожилы.

И надо же такому случиться, что именно в этот день мне, городскому землеустроителю, было дано задание побывать в единственном предгорном колхозе нашего в общем-то равнинного района, окружившего город кольцом садов и виноградников.

Заведующий фермой этого колхоза...

Нет, прежде о самой ферме: от центральной усадьбы колхоза, где размещались контора и другие учреждения, она находилась на отшибе, в отдалении, приютилась себе у самой подошвы горы, откуда одна дорога, верст на десять, вела наверх, в село, а другая — в город, куда ежедневно старая, еще военных времен полуторка доставляла на завод парное молоко.

Так вот, заведующий этой фермой, уже

немолодой человек, низенького роста, словно сказочный мужичок с ноготок, но с непропорционально росту длинными пышными усами, придававшими ему довольно мужественный вид, заметив неподдельный страх в моих глазах, с нехитрой улыбкой заметил:

— Первый раз, наверное?..

— Да,— стыдливо признался я, как нашкодивший школьник,— никогда на коня не садился...

— Не бойся,— уверенно успокоил он меня,— конь смирный, дорогу к конторе знает, привычный... Другим транспортом сейчас туда не добраться, мокрынъ, дорогу разнесло. Да вон еще и небо заволокло. Садись, не тушуйся, я помогу.

Мне бы тогда отказаться, отложить командировку на день-другой, покуда все утихнет, небо прояснится, уgomонится, так сказать, природа — не случилось бы приключений всяких, неприятных неожиданностей, но... Нет, все же я благодарен судьбе, что, несмотря на все пережитое, подарила мне эту незабываемую встречу...

А приключилось со мной вот что: не успел отъехать от фермы и трех верст, как начался такой снегопад, какого мне в жизни видеть не приходилось. Все вокруг затуманилось, завихрилось, покрылось сплошной белой скатертью. В течение нескольких минут дорога и виноградники на обочинах слились в сплошное поле с торчащими кое-где черными спинками мокрой лозы, которые со временем тоже исчезли под белым снежным покровом.

Все бы ничего — не так уж долго предстояло ехать до села, всего лишь несколько верст, да вот беда — мой конь стал спотыкаться, проваливаясь то в какую-либо яму, образовавшуюся после осенней вспашки виноградников, то, зацепившись за невидимую, полегшую наземь крепкостволую лозу. Спотыкался так, что порой почти полностью терял равновесие.

Ничего мудреного: моя смирная коняга потеряла дорогу, попросту говоря, заблудилась...

Уж как я не вылетел из седла, как, неумейка, ухитрился попасть в такт движениям коня, — непостижимо! Порой, казалось, падение неминуемо, но во мне просыпался вдруг зов предков, пробуждалось великое чувство самосохранения, помогающее так вцепиться в коня, что никакая сила не могла сбросить меня с него.

Однако в следующее мгновение конь ушел передними ногами куда-то глубоко, видно, почти к самому корню лозы, сделал усилие подняться, но, зацепившись за корягу, вдруг весь задрожал, сделал судорожное движение вперед, пошатнулся и... я, вылетев из седла, угодил бедром прямо в твердое тело виноградной лозы.

Уж как коню удалось упасть на другой бок, как и каким образом он всей своей огромной тушей не придавил меня, не знаю! Лишь много лет спустя мне рассказали, что кони, если они смертельно не ранены, если в них теплится хоть малая толика жизни, на седока своего не упадут...

Я рванулся встать, вылезти из снежного плена, даже привстал было, однако в следующую секунду острая боль в бедре пронзила все тело и я упал... «Слава Богу, не головой,— успокоил я себя, ощупывая место ушиба,— нет, кажется, поломки нет...» «Так тебе и надо, дурень,— вдруг заговорил мой недовольный двойник,— тебе и этого мало, все геройствуешь, не мог переждать...»

Я горько усмехнулся над собой, все же поднялся, взял понурившегося, будто чувствующего вину коня под узцы и, тяжело ступая (ушиб все же давал о себе знать), медленно пошел по направлению к селу.

Снегопад прекратился так же внезапно, как и начался. Стало светлее. По деревьям и кустам ежевики, как мне казалось, сорентировался на местности. Однако видимые на местности предметы меня основательно подвели, и я мог в таком состоянии еще долго плутать, и тогда не миновать было большей беды, если бы не встреча...

Мой встречный в ста метрах от меня ехал на коне совершенно в другую сторону, нежели я, и был весьма удивлен моим маршрутом.

— Эй! — крикнул он мне вдогонку. — Вы куда идете?

Я назвал село.

— Так это же не туда! — еще громче крикнул он. — Вы заблудились, друг мой, подойдите ко мне, я как раз еду в это село. Да на вас лица нет,— встревожился он в следующую минуту, когда я приблизился к нему,— что с вами? Так это вы?

Мы были знакомы. Я коротко рассказал о своих приключениях, да о том, что уже второй час после пурги плутаю и не могу найти нужную дорогу. Он же, спешившись, помог мне сесть на коня и дал выпить из своего походного термоса кружку горячего чаю. Несмотря на тупую боль в бедре, ехать все же было легче, чем идти, и мы двинулись в путь.

Моим спасителем оказался такой же, как и я, молодой человек. Ну, может быть, года на два-три моложе. «Неуемный», — как о нем говорили, секретарь райкома комсомола, который ехал в этот же колхоз уполномоченным от райкома партии на отчетно-перевыборное собрание.

Молодежь района любила его, шла за ним. О его поразительной целеустремленности и деловитости не раз говорили с высоких трибун, однако он молчаливо обходил похвалы, будто они его вовсе не касались. Я вспомнил, как он однажды, через несколько дней после своего избрания, поехал на комсомольское собрание в овощеводческий колхоз и до полуночи собирал комсомольцев на объявленное накануне собрание, загнав партийного и комсомольского секретарей до седьмого пота. А потом, когда все комсомольцы все же были собраны в стареньком колхозном клубе, куда прибежали и возмущенные мужья, жены которых непривычно вынуждены были покинуть теплое супружеское ложе, он поднялся и строго бросил в зал:

— Кто не желает оставаться в комсомоле, прошу написать заявление.

С этого дня комсомольцы района почувствовали, что к ним пришел настоящий вожак.

— А ты молодец, — оборвав мои воспоминания, обратился мой попутчик. — Не испугался такого натиска природы, когда повалил снег, я как раз был там, внизу, на ферме.

Я понимал, что говорит он это, чтобы приободрить меня, придать силы, и поэтому был ему вдвойне благодарен.

— Поскольку природа внесла в твои землеустроительные планы свои коррективы, давай вместе примем участие в колхозном собрании, предчувствую, что там сегодня разгорятся страсти...

Несмотря на то, что дела в этом сравнительно неплохом колхозе в последние два-три года шли все хуже, бюро райкома партии все же решило рекомендовать колхозникам оставить председателя еще на один срок. Провести в жизнь это решение и было поручено моему попутчику.

Однако часть колхозников, судя по их письмам в партийно-советские органы, была настроена весьма критически и требовала замены председателя. Другая же часть была за него. Вот почему, понимая весьма трудную миссию своего попутчика и ожидая действительно поучительного разговора, я принял его предложение.

...Собрание было бурным и шумным: то верх брали сторонники головы колхоза, то вдруг поднималась волна бескомпромиссной критики в его адрес, отчего его ковчег с гребня волны вдруг оказывался в пучине, готовый вот-вот потерпеть крушение.

Казалось, падение председателя неминуемо, однако равновесие сил не давало шансов ни одной из сторон. Выступил и уполномоченный. Он обратился к старшему поколению колхозников, говорил, что колхоз в недавнем прошлом был одним из лучших в районе и сегодня, когда производственные показатели снизились, нельзя всю вину возложить **только на председателя**, надо взять ее и на себя, хотя, конечно, ослабление требовательности со стороны председателя явно налицо. Но злоупотреблений у него нет. Об этом же говорят, мол, и выступающие. Так не лучше ли оставить его еще на один испытательный срок, чем **выбирать нового**, которому надо еще **долго входить в курс дела**.

Тогда с первого ряда кресел встал один из аксакалов — среднего роста худощавый старик — и неторопливой походкой направился к трибуне. В зале все затихли. Наступил тот момент, который и должен был решить судьбу председателя.

— Я думаю, товарищи, наш уполномоченный прав,— начал аксакал, четко выговаривая каждое слово.— Он, хотя и молод, говорит мудро. Не пристало нам все валить на голову колхоза, некрасиво получается. Выходит, когда дела идут хорошо — заслуга наша, а когда дело чуть захромало — виноват голова...

По залу прошел легкий смехок, а старик, не обращая на это внимания, продолжал:

— Вот мы тут и решили,— он рукой показал на сидевших в первом ряду стари-

ков,— что оставим нашего голову колхоза еще на один срок... Но чур, председатель...— Старик хитро улыбнулся и, показав на него указательным пальцем, добавил: — Возьмись за голову, ибо колхоз в следующем году голову потеряет...

Это и решило исход собрания: по залу сперва прошел дружный смех, а потом аплодисменты.

И хотя приближалась ночь, люди расходились по домам не торопясь, все еще продолжая говорить о сегодняшнем снеге и пользе от него виноградникам. Мы собрались было в обратную дорогу, когда к моему товарищу подошел тот же старик, что так круто повернул ход собрания, и спросил:

— Скажи, сынок, не внук ли ты незабвенного Келебебе, известного мастера-виноградаря?

— Да,— ответил он, несколько озадаченный.— Вы что, его знали?..

— Ты сегодня мой гость, сынок,— с улыбкой ответил старик.— Вот дома я тебе и отвечу...

С молоком матери впитывается в нас чувство уважения к старшему, их благоговейное почитание, и потому я сразу понял причину замешательства, в которое вдруг пришел мой товарищ, ибо он намеревался немедленно вернуться домой, успеть отпраздновать в эту ночь день рождения дочери.

— Ты не волнуйся,— по-своему поняв его замешательство, снова заговорил старик,— тебя и твоего товарища домой отвезет на санях мой сын...

Тут уже пути к отступлению не было. Однако в следующие минуты, когда мы вошли к нему во двор, мой товарищ был удивлен еще больше — прямо перед ним, как говорится, у ног, по беглому жесту старика сыновья тут же прирезали барана и стали свежевать его на шашлык. На Кавказе это — знак особого уважения к гостю. И потому мой товарищ был не только удивлен, но и немного сконфужен.

После прочих процедур гостеприимства, которые и сегодня свято соблюдаются в горах, нас пригласили в небольшую комнату к накрытому столу.

Старик приказал сыну открыть шампанское и разлить в бокалы. Приступили к трапезе.

— Я вижу, сынок, ты крайне озабочен, — заговорил старик, обратившись к моему молодому товарищу. — Вопреки обычаю и даже в его нарушение, — улыбаясь, продолжал он, — я, старый человек, за одним столом с молодыми не только выпью этот бокал шампанского, а буду и вас просить выпить со мной...

Старик выпрямился, по-молодому заискрился его взгляд.

— Я этого дня ждал... можно сказать, всю жизнь ждал, и потому, не пряча радости, говорю, что у меня сегодня праздник, праздник откровения, праздник души...

Мы тоже было повскакивали со своих мест (не пристало молодым сидеть, в то время как стоит старший), но старик мягким жестом усадил нас на место.

— Нет, нет, дети, вы сидите и послушайте, что скажет вам прошагавший большое поле жизни аксакал... Родился я почти в одно время с новым веком, лишь на месяц он опередил меня. И хотя рождение мальчика у нас считается событием, все же мое появление в семье особую радость не вызвало. Да и о какой радости могла идти речь, если кругом бегала голь перекатная, бедность накрепко привязалась к нашей старой, покосившейся крестьянской сакле, а голод так и норовил унести одну жизнь за другой...

Старик как-то глухо кашлянул, ненадолго умолк, не выпуская из рук, поставил на стол бокал, потом оценивающе посмотрел на нас, словно взвешивал, можно ли нам рассказывать дальше, и продолжал:

— Мальчишкой ушел в город, нанялся к местному богачу в работники... Был у них небольшой сад у самого дома, так вот в этом саду с утра до вечера пахал и сажал, убирал да выхаживал, добавьте к этому еще: колол дрова на топку целого дома, нянчил барчуков, таскал полные корзины продуктов, э... э... всего и не перечислишь... А тут такое началось... сперва пришла весть, что в Москве сбросили царя, потом чехарда началась и у нас в городе. Сначала разбойничали турки, потом банды Деникина вкупе с англичанами... Когда пришла Советская власть, мне было уже девятнадцать. Хотя мы, безграмотные дети гор, тогда многого еще не понимали, смутное было время, все же слышали и видели, что власть эта за бедняка, в его защиту,

и радовались этому. Да и не только радовались, а как могли помогали. А мой хозяин, озлобленный этими переменами, увидев однажды мое сочувствие новой власти, пришел в ярость, люто возненавидел меня и дал от ворот поворот...

Старик улыбнулся своей тайной мысли, кашлянул в кулак и продолжал:

— Так я без гроша в кармане, в одной рубашке и старых, прохудившихся чарыках оказался на улице. В то время виноградные сады оставались еще в частной собственности, а незанятых рабочих рук было с избытком, и людям ничего не оставалось, как снова идти к частнику. Подался и я к ним, но быть бы мне не солоно хлебавши, если бы не твой дед, сердцу моему дорогой Келебебе...

Голос аксакала чуть задрожал и осекся, глаза увлажнились и, чтобы спрятать это, он на секунду прикрыл их рукой. Потом, преодолев волнение, твердо добавил:

— Жизнью своей, счастьем своей семьи обязан я незабвенному Келебебе и, покуда жив, помнить буду об этом... Был он старше нас, молодых, лет на шесть-семь, детей имел, трудолюбием же отличался невероятным... Вот он и уговорил садовладельца взять и меня в свою бригаду... Накануне же я обошел многие дома, а работу не нашел, зато попал под дождь, промок до нитки, голодал, заболел и был в отчаянии... Обогрел и приютил меня Келебебе в своем доме, целый год учил виноградарскому делу, а был он мастер великий в этом деле... Но душевная щедрость

и благородство Келебебе этим не ограничились.

Старик внезапно умолк, будто силился вспомнить что-то очень сокровенное, и также внезапно заговорил:

— Я в жизни встречал разных людей: добрых и злых, душевных и черствых, щедрых и скупых, встречал высокопорядочных, честных и открытых, но такого благородного в самом высоком смысле этого слова, как Келебебе, встретить больше не пришлось. Он оставил во мне такой след, что все, что я делал потом в жизни, я всегда соразмерял с тем, что бы сделал в подобных ситуациях он...

Посудите сами... Ровно через год отец из села послал ко мне с поручением гонца, чтобы я вернулся домой, да чтобы непременно с деньгами, заболел, мол, и потому намерен свадьбу мне сыграть, женить меня, значит... А у меня,— старик горько улыбнулся,— у меня же за душой, как говорится, кот наплакал, малость приоделся за тот год и все... Что делать, как быть, не знаю. Хожу сам не свой, заговариваться стал, впору свихнуться. Через неделю за обедом, в присутствии жены и детей своих, Келебебе обнимает меня за плечи и тихо так, ласково говорит: «Не тужи, друг мой, и не горюй, в селе отец ждет тебя, к свадьбе все готово...» «Как?» — спрашиваю. «А так,— отвечает,— пообедай и собирайся, сейчас арба подъедет, в село тебя заберет...» — «Откуда же все взялось?» — недоумеваю я. «Там все узнаешь...» — отвечает он и улыбается...

Старик опустил седую голову и ненадолго умолк, лишь в волнении дрожали его жилистые натруженные руки...

— Два говола муки, два хюма вина, три чанаха сушеной рыбы, пуд риса да невесте подарки послал тогда Келебебе к отцу в село от моего имени, мол, все это к свадьбе... А ведь в то время это все стоило немалых денег. **Отдал, видно, все, что накопил, да у друзей позанимал немного...**

Прошли годы, пятерых сыновей и семерых дочерей вырастили мы с женой, внуков и внучек две дюжины, добрых дел у каждого из нас немало: ореховый сад у подножия села — заложил его я, теперь он колхозный, родники, что сохранены и постройкой украшены в округе — тоже дело рук наших, **живем счастливо и в ладу с совестью...** И всему этому, я считаю, обязан незабвенному своему другу, Келебебе...

Так уж случилось, при жизни друга не сумел сказать ему всех этих слов и вот почему обрадовался, сын мой, узнав, что Келебебе — твой дед, я устроил этот вечер, чтобы вспомнить и воздать должное Доброму Имени достойного человека!..

У каждого человека в жизни бывает три имени: первое, которое дается ему при рождении, второе — это даже не имя, а кличка, приобретенная походя, третье же — это имя, которое ты заработал жизнью. Келебебе называли Светлым. Его уже нет, но добро его помыслов и дел по сей день светит всем, кто его знал.

Старик замолчал, пригубил бокал с шампанским, затем устало, но величественно сел на услужливо подставленное ему кресло.

Ели молча, видимо, никто не хотел первым нарушить состояние воцарившейся торжественности. Я искоса поглядывал на своего товарища, который сидел, словно наэлектризованный, то краснел от нахлынувшего вдруг потока похвал в адрес деда, то, поминутно вытирая потный лоб, становился бледным, будто оказывался на краю обрыва. Ему было нелегко. Я же благодарил судьбу за этот вечер и за эту встречу...

Затем сам же аксакал шуткой разрядил обстановку. За столом стало оживленней и проще.

Спокойствие вернулось и к моему товарищу, и он перед отъездом попросил слова.

— Спасибо вам, дорогой аксакал, за приглашение и добрые слова в адрес моего дедушки. Сегодня вы преподнесли нам, молодым, добрый урок. Ничего особенного в жизни я еще не свершил, лишь стараюсь быть полезным. Это больше старания, чем дело... Но, как видите, очень часто пользуюсь вниманием и доброжелательностью окружающих меня людей. Это не потому, что я заслужил, нет, это не моя заслуга, я лишь пользуюсь плодами доброго имени своих предков. Всю жизнь я буду стремиться к тому, чтобы дети наши, так же как и мы, пили из родника Доброго Имени своих отцов...



РЫБАЧКА

Вот уже много лет, обнажая причудливое каменистое дно, отступает Каспий. Огромные камни у берега оголились совсем и омываются лишь у основания, а те, которые чуть дальше, в море, стоят словно в ряд, где по пояс, а где с головой в воде, выпячивая в тихую погоду покрытые морской зеленью скользкие спины.

Рыбакам стало вольготно, они становятся теперь на эти вылезшие со дна камни и закидывают свои удочки и спининги как можно дальше в море, где гуляют прожорливая тарашка и хитрая шамайка. Те же, кто смелее, в бахилах, ловко балансируя по скользким телам этих окаменевших чудовищ, идут дальше в море, чтобы получить еще больший простор.

Вопреки традициям на берегу появились и рыбачки. Их мало. От суетливой морской братии их отличают усердие и терпеливость. Молодая рыбачка непревратно ловко закидывает спининг и участливо слушает словесную перепалку рыбаков. Спор их разгорелся

незаметно, как доселе дремавший, а потом вдруг вспыхнувший костер.

— По соседству с нами,— подхватив чью-то неслучайную реплику, выворачивая наизнанку голенища мокрых бахил, говорил промокший до нитки большеголовый, широко-телый, с белой проседью на висках черноволосый рыбак,— жил один, лучше сказать... Хомяк. В войну нажил он, по нынешним временам, огромное богатство, барствовал, глумился над солдатками, как петух в курятнике.— Он тяжело вздохнул и ненадолго умолк.— Мужики все были на фронте, а этот... ущербностью прикрылся. Кривой-то кривой, а вот хитрости был особой, поганец. Умер он несколько лет назад в старости да в достатке, а отпрыски после его смерти, при дележке награбленного отцом состояния, чуть было горло друг дружке не перегрызли. Ах, возмутился я тогда, засомневался в справедливости Всевышнего, слепой и глухой ты, говорю ему про себя, как же ты, всевидящий, под самым, можно сказать, своим носом столько мерзостей не заметил, ну и так далее...— Он, ловко прикрывшись полотенцем, переоделся в сухие брюки и, выжав мокрую рубаху, расстелил ее на камне.— Короче, конфликт у меня с ним вышел. Вспомнил я свое голодное и холодное детство, горькую долю матерей наших, и такая меня злость одолела, не мог примириться, что этому негодяю такой благополучный конец выпал.

Октябрьское солнце хотя и светило ярко, а все же море дышало свежестью.

— Гриша, а Гриш,— окликнула его рыбака и бросила ему рубаху.— На, переоденься, не гляди, что солнце, прохладно небось...

— А-а, Соня, спасибо, дружище.— Рыбак быстро надел брошенную ему рубаху и согласно добавил: — Да, как говорится, осень идет и холод за собой ведет...

— Может, у Хомяка-то твоего не так уж и ладно все было? — подсев к рыбакам, спросила Соня.

— Представь себе,— в задумчивости ответил черноволосый Гриша, прыгая с одной ноги на другую и таким образом согреваясь,— самое невероятное случилось потом, прямо черт-те что... Сперва, где-то через год, умер его сын, хороший, в общем, парень... Не прошло и двух месяцев — в автомобильной аварии погиб и второй сын... Ах, думаю, гад ты поганый, сам напакостил, а дети теперь за тебя расплачиваются...

— Эй, Григорий, кончай физкультуру-то, садись чайком согрейся,— заметил его друг и протянул ему чашку дышавшего паром чаю.— Ты пей и рассказывай...

Григорий взял чашку, уселся в проеме скалы, где сидели промокшие рыбаки, отпил несколько глотков и продолжал:

— В течение трех лет по его семье словно проклятье пронеслось. После трагической гибели сыновей у одной дочери дом сгорел, у другой все украли, короче, все пошло прахом, будто какая-то слепая сила, спохватившись вдруг за ранние промашки свои, разом решила все исправить...

— В жизни все так,— облокотившись о выступ скалы, глубокомысленно сказал уже немолодой, с широкой рваной осколочной раной на щеке, рыбак,— ни добро, ни зло безответными не остаются... Жаль только, что за злодеяния одних приходится расплачиваться другим... кхе... кхе...

Он как-то гулко, с хрипотцой кашлянул и провел ладонью по ущербной щеке.

— Да-а,— задумчиво протянул самый молодой рыбак и, глубоко вздохнув, задумчиво добавил: — Надо же...

— Вы мужики, не сердчайте, что баба в разговор влезла,— приподнявшись и, став для удобства на колени, заговорила вдруг Соня,— хочу рассказать вам о своем отце, можно? — Она сразу умолкла и вопросительно взглянула на рыбаков.

— Валяй, чего там...— кто снисходительно, кто с улыбкой, разом зашумели рыбаки.— Ты, Соня, свой парень, рассказывай...

— Ну, спасибочки, милые! — Соня разом всем благодарно улыбнулась, отчего четче обозначились нежные ямки на ее щеках.— Было мне лет пять-шесть, а в семье нас было семеро, когда мы всем гуртом перебрались в другое село... До сих пор для меня остается тайной, почему отец тогда, в лихую годину войны, перебрался в новый аул...

— Может, от военкомата?..— с ехидцей заметил один из рыбаков.

— Не-е-т,— совсем без обиды ответила Соня,— хром он был... А вот мастер был большой, каменщик, что называется, золотые

руки... У кого домик развалился, тому развалюху починит, кому коровенку от лютой зимы прикрыть негде, тому сарайчик сварганит, когда же единственный мост, без которого аул оставался отрезанным от всего мира, начал рушиться, он дни и ночи, один — мужики почти все были на фронте — восстановил его... Э-э, что там говорить, не было такой семьи в ауле, кому бы он не помог, а сам, со всей нашей оравой, был без дома, жил в сарайчике одного доброго хозяина...

— Что же он, каменщик, не мог себе домик построить? — удивленно спросил молодой рыбак.

Соня как-то странно, больше даже снисходительно посмотрела на него и ответила:

— Некогда было, наверное... для себя некогда было, кругом столько трудностей и горя, что о себе он, видно, забывал, работал, лишь бы людям помочь, да и нам на хлеб заработать... Скажу вам по правде, — Соня вдруг оживилась и улыбнулась своим воспоминаниям, — и люди для отца ничего не жалели, платили ему добром... Помню такой случай: голодно было, а отец привез мешок кукурузной муки, радость-то какая была... Привез и положил у дверей сакли, домой не заносит... Мать ему говорит, ты чего, мол, домой-то не несешь, а он в ответ, мол, подожди малость, а сам подзывает соседских детей и каждому дает по полной миске. Половину мешка раздал. Мать ему говорит: «Ты что, — шальной, делаешь, дети голодные!» А он отвечает: «Сею!» «Что?» — ничего не пони-

мает она. А он хитро улыбается и снова отвечает: «Сею!» Признаюсь вам, мужики, мы все тогда в семье думали, что отец наш малость того, с причудами, не от мира сего...

— Ну ты молодец, Соня! — улыбаясь, проговорил молодой рыбак, зачарованно разглядывая раскрасневшуюся от волнения рыбачку.

— Да, да, — подтвердила Соня, — к тому же он в самом конце войны заболел и слег. — Вначале еще кое-как ходил, но через пару месяцев его разбил паралич и он слег окончательно... Можете себе представить, с горем одних рядом радость других, у некоторых мужья и сыновья домой возвращаются, а мы... без своего угла да еще с парализованным отцом в чужом доме...

— Что же люди? — с какой-то надеждой спросил рыбак с изуродованной щекой.

— Люди? — переспросила Соня. — О них и речь... Втайне от нас они вскоре собрали сход и всем аулом решили построить для нашей семьи дом... и построили, переселили нас в него и до тех пор, пока мы подросли... мы постоянно находили у своего порога то мешок муки, то баранью тушу, то сыр, то корм для нашей коровы, которая тоже была преподнесена в дар...

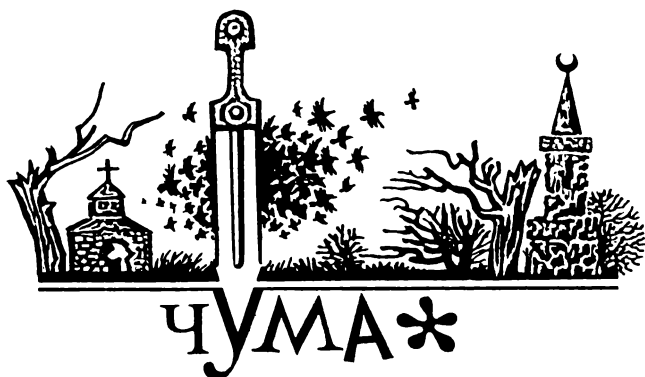
«Видишь, жена? — узнав о заботе аульчан, со слезами радости на глазах сказал как-то отец накануне своей смерти. — Ты спрашивала меня тогда, что я делаю? Сеял я, всю жизнь сеял...»

Соня умолкла, незаметно смахнула нака-

тившуюся на глаза слезинку, приподнялась и отошла к своему воткнутому в расщелину скалы спинингу. Каспий плескался о прибрежные камни, выбрасывая на них мириады брызг. Слышен был лишь шум начавшегося прилива.

— Да-а, видно, так и есть,— нарушил молчание черноволосый Григорий,— что посеешь, то и пожнешь...





Анаит и Зулейха жили по соседству. Дома их, прижавшись друг к другу, четырьмя большими окнами смотрели на улицу, а дворовым фасадом повернуты каждый к своей полоске приусадебной земли, между которыми в обнимку росли два ряда инжировых и гранатовых деревьев, где безраздельно, не признавая границ, господствовала детвора той и другой стороны.

Село, в котором жили Анаит и Зулейха, расположено в Армении, в сорока верстах от Азербайджана. Но границы здесь никакой нет, если не считать каменистой гряды, через которую добрые руки людей проложили дорогу да с обеих сторон от нее посадили большой плодовый сад, названный потом «Райским садом».

Больше половины жителей села — армяне, другая же часть — азербайджанцы. В нем никогда не было ни церквей, ни мечети, но это не мешало его жителям верить своим богам и в то же время жить в дружбе и согласии.

А в последние годы все чаще заключались смешанные браки, лишний раз говорившие о том, что из всех богов наиболее почитаемой стала здесь великая богиня жизни — Любовь.

От отцов и дедов к сыновьям и внукам, как эстафету, передавали здесь легенду о том, что много веков назад два доблестных сына этих орлиных краев, два закадычных друга Сурен и Ахмед отвоевали у каменистой гряды лоскут земли и начали крестьянскую жизнь, что первые дома здесь построены именно из тех камней с красными жилами гранита, которые когда-то, давным-давно, от причуд природы посыпались с вершин соседней горы и рассыпались по всей округе. Вот с тех пор и селились здесь те, кто умел трудиться и знал этому цену.

Нелегкая крестьянская жизнь не оставляла времени для досужих разговоров и пересудов. Труженик всегда думает о насущном, ему некогда лясы точить. Но зато горе и радость здесь были общими и делились на всех поровну. А о человеке судили по его труду, леность осуждалась и служила поводом для насмешек, трудолюбие же и мастерство приносили славу и уважение. Что же касается интеллигенции села, которая по природе своей любит порой наводить, как говорится, тень на плетень, порыться в выброшенном и забытом, как ненужном, то и она была своя, доморощенная — с детства приученные к труду сыновья и дочери тех же крестьян.

У Анаит было двое детей — круглолицый Ашот и большеглазая Соня, после которой

врачи предостерегли Анаит от деторождения. А вот Зулейха принесла в семью четверых сыновей: Мирзу, Гусейна, Мамеда и Тофика, да двух дочерей: Лейлу и Беневшу. Сурен же, муж Анаит, и Ахмед, муж Зулейхи, считали, что у каждого из них пятеро сыновей и три дочери, и не мыслили жизни без совместных вечерних чаепитий и праздничных застолий, не уставая повторять при этом, что «близкий сосед лучше дальнего родственника».

...Война вошла в их жизнь в одночасье, когда Сурен и Ахмед, накинув на плечи вещевые мешки, отошли от ворот, сели на старенькую полуторку и прощально помаха-ли рукой.

— Га-р-р! — зловеще гаркнула тогда пролетевшая рядом ворона и вселила в трепетные сердца верных и любящих жен тревогу за судьбу покинувших дом мужей.

— Будь ты неладна! — смахивая слезу, сказала Зулейха, и было непонятно, кому адресовала она это проклятье: войне, внезапно изменившей жизнь ее семьи, или так некстати пролетевшей мимо черной вороне.

Да, не напрасно встревожилась тогда Зулейха, не обмануло ее больное сердце предчувствием. Вскоре, вслед за солдатскими треугольниками, пришла печальная весть, что ее Ахмеда больше нет... Изменилась женщина в лице, восковыми стали ее некогда вишневые губы, сильнее прижала к материнской груди младшего сынишку и замерла в ужасе. Нет, не сумела она заплакать, не

было слез в ее потускневших глазах, словно не весеннее солнце светило вокруг, а мрак махал ей черными крыльями.

— Ахмед, дорогой! — впервые за все время болезни тихо произнесла Зулейха и в тот самый день, когда она проводила мужа на войну, отдала Богу душу.

Соседских детей Анаит не оставила одних, да и как было их оставить, коли старшему было четырнадцать, а младшему — три. Не нарушила Анаит данного Зулейхе обещания, все продолжалось как прежде: она учительствовала, дети учились и помогали ей в домашних делах — жили одной семьей. Когда кругом были ликование и радость по случаю окончания войны и возвращались в село оставшиеся в живых солдаты, а Анаит с детьми со дня на день ждала возвращения мужа, немилосердная судьба двадцатого мая преподнесла им еще один коварный сюрприз — в одной из немецких деревень вражеская пуля унесла жизнь и Сурена...

— Мамочка, родненькая, не умирай! — кинулись к убитой горем матери ее осиротевшие дети и сквозь горькие слезы причитали: — Мы тогда тоже умрем...

И Анаит выстояла, ибо в шестнадцать испуганных жизнью глаз на нее смотрели восемь несчастных детей. Они требовали заботы, но они же и помогали ей преодолеть все трудности послевоенной жизни. «Птенчики мои дорогие...» — мысленно радовалась она детям.

Вскоре подросли и окончили школу Мирза

и Ашот. Первый уехал в Баку, поступил в институт, второй же — в Ереван, стал учиться на врача. Затем стали вылетать из родного гнезда остальные ее «птенчики»: Гусейн и Мамед окончили ремесленное училище и уехали работать в Сумгаит, в Агдам вышли замуж Лейла и Беневша, а возмужалый Тофик поступил в Бакинское военное училище.

Шли годы, но никогда не теряли дети связи с матерью, а связующим звеном этой большой уже, выросшей цепи, оставалась ласковая большеглазая Соня, теперь уже сама ставшая матерью.

И вдруг снова война, теперь уже не там, на западе, а здесь рядом, в собственном доме... Чума национальной розни охватила города и села, она шла страшной волной, не щадила вековые устои и тысячелетнюю дружбу, унося в своих смертельных объятиях десятки и сотни жизней. Теперь уже свои лиходеи травили одних на других, сеяли семена вражды между армянами и азербайджанцами, выискивая пятна на чистом знамени двух братских народов. Радовалась эта свора, что ценой жизни многих сотен ни в чем не повинных людей она сумела отвести удар от своих воровски нажитых миллионов...

— Что же вы делаете, дети мои? — призывала к разуму своих, взявших в руки оружие, вчерашних учеников старая Анаит. — И Христос, и Мухаммед всегда звали людей к милосердию, а здесь христианин убивает мусульманина и наоборот. Ничего не понимаю...

В эти дни национальной скорби и умерла Анаит, не вынесло раненое сердце матери еще одну войну...

И та полоса земли на каменистой гряде, которая называлась раньше «Райским садом», где и межи не было, вдруг стала «границей», будто земля эта рождала по весне не нежный цвет абрикосов и миндаля, а плоды недоверия, подозрительности и вражды. Многих трудов стоило мужественной Соне сообщить своим братьям и сестрам в Азербайджан о смерти матери и дне ее похорон.

А на следующее утро к никем не охраняемой и безопасной раньше границе со стороны Азербайджана подъехал автобус с траурными лентами по бокам. В нем были Мирза и Гусейн, Мамед и Тофик, Лейла и Беневша — с женами, мужьями и детьми, все вместе, всей большой семьей, они торопились в свое родное село, на похороны.

Весть об этом молниеносно пронеслась по округе, прекратились выстрелы, замерли в задумчивости суровые лица одурманенных ложью людей.

— Не стрелять! — пронеслось меж ущелий и гор. — Не стреляйте, ребята! — прозвучала команда на двух языках.

И через живой коридор до самого села автобус скорби тронулся в путь.

Хотя и был декабрь, но было нехолодно, крупными хлопьями шел скорбный снег. Хоронили Анаит всем селом. И вот, когда на край могилы положили гроб, вдруг среди собравшихся пронесся вздох удивления —

это с соседней горы спускались к могиле попрятавшиеся в расщелинах скал безоружные парни, чтобы проводить в последний путь свою старую учительницу.

— Дорогие мои сельчане! — завершил прощальный митинг безрукий учитель истории старый Рубен. — В этот скорбный час прощания с нашей Анаит мне хочется рассказать вам притчу. Говорят, возвращался после долгих поисков Счастья к себе в село один бедняк. А тут навстречу ему Богатство. Обрадовался бедняк и спрашивает того, куда, мол, ты идешь.

«Туда, где есть дружба!»

Не смог бедняк пригласить его к себе, потому что не было в их селе дружбы. Пошел огорченный бедняк дальше и встретил Силу. Обрадовался и спросил ее:

«Сила, куда ты идешь?»

«Туда, где есть дружба!»

Не смог он предложить и Силе поселиться в своем селе, ибо не было там дружбы.

С тоской и грустью продолжал он идти, как вдруг навстречу ему долгожданное Счастье.

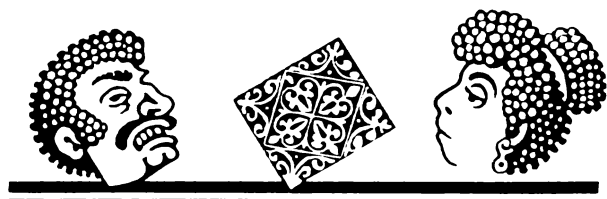
«Счастье, куда ты торопишься, я так долго тебя искал!» — воскликнул его бедняк.

«Туда, где есть дружба!»

Понял бедняк, что не уговорить ему Счастье, так как не было в их селе дружбы.

Старый Рубен вдруг внезапно умолк и с грустью посмотрел на собравшихся.

У могилы армянки-матери плакали ее дети-азербайджанцы...



ПЛАТОЧЕК

Несчастье обрушилось на ее семью не вдруг, как пожар или тайфун, и даже не как лавина с гор, хотя с лавиной как раз и следовало бы сравнить, ибо и она исподволь накапливается, набирает силы, чтобы обрушиться потом в какой-то миг.

Именно так и произошло в семье этой молодой женщины с тремя малолетними детьми после того, как запил муж. Ушел в запой, и надолго. А началось все с семейных вечеринок с друзьями, потом с кружечки пива на улице, ну а дальше все пошло как по маслу: остограммивался по случаю и без случая, окилограммивался с каждой получки и зарплаты.

Беда была и в том, что спокойный и немногословный в трезвом состоянии, в пьяном разгуле он становился разъяренным, как разбушевавшийся Каспий, и «клято» ругался с женой, доводя свои выражения до самой, как говорится, «высшей математики».

И в результате нормальная в прошлом семья распадалась на глазах, и от прежней любви, что принесла им три живых плода, теперь не осталось и следа.

Не выдержала женщина этой обрушившейся на нее беды, не смирилось ее сознание, что яркое счастье, которое еще вчера освещало жизнь ее семьи, вдруг стало гаснуть и исчезать, как догорающая восковая свеча. Воспротивилась вся ее жизненная сила, восстав против пьянок и матерщины мужа. Она возмущалась, старалась вразумить его, объяснить, что семья не выдержит такого несчастья, распадется, как разбитый кувшин. Но когда, несмотря на все это, муж все же продолжал пить и сквернословить, она взрывалась, посылая на его голову все проклятья, что могут родиться в голове возмущенной женщины.

В порыве гнева и негодования она, порой, переходила в такую словесную атаку, от чего муж, в свою очередь, в пьяном угаре еще больше закипал и переходил от слов к избиению.

Наконец женщина пришла к выводу, что так дальше продолжаться не может, что совместная жизнь с мужем дошла до той самой критической точки, за которой обрыв, пропасть, бездна, что эта семейная связка тянет к гибели не только ее, но и подвергает опасности жизнь ее детей, что эту связку надо немедленно оборвать...

— Нет, мама, я больше не могу! — в слезах говорила она матери, к которой

пришла вместе с детьми в гости.— Кажется, наступил предел моему терпению... Каждый день пьяный... не просыхает, а матерщинит... уши вянут, теперь еще и бить стал...

Она говорила и плакала — горько, навзрыд, обессиленная навалившейся на нее бедой. Еще недавно казавшаяся вечно молодой, она вдруг как-то состарилась, опустились плечи, склонилась к земле некогда гордая, красивая голова, в волосах чуть заметно стала пробиваться горькая проседь, в уголках рта пролегли глубокие борозды.

Зная ее вспыльчивый характер, мать все же старалась успокоить дочь, просила не доводить, как говорится, воду до кипения. Однако в следующую минуту дочь резко достала из сумки платочек, вытерла слезы и, как человек, принявший твердое решение, заявила:

— Нет, мама, я с ним больше жить не буду! Хватит!..

— Да что ты, дочка! — старалась урезонить ее убитая горем старая мать.— Как же дети без отца? Да и ты без мужа... Не торопись, дочка. Отрубишь веревку, потом как бы ни старалась, все же узел на ней не спрятать...

Но когда заметила, что решение дочери непреклонно, задумалась старая женщина и неожиданно сказала:

— Ты помнишь, дочка, старика Худодота, соседа нашего?

— Да, помню,— непонимающе ответила дочь.

— Схожу я к нему, посоветуюсь... Человек

он мудрый, не одному помог в жизни. Потерпи день-два. Ломать — не строить, дочка, а может, еще и не поздно что-то исправить.

Старый Худодот встретил соседку у себя во дворе очень приветливо, расспросил о житье-бытье, о дочери и внуках, что дало повод обеспокоенной за судьбу дочери старой матери, не откладывая разговор в долгий ящик, сразу взять быка за рога.

— Вот это и привело меня к тебе, дорогой Худодот, — сказала она, усевшись на услужливо предложенный ей стул. — Беда у нее, а что делать, как ей помочь — не знаю...

Внимательно выслушал Худодот рассказ старухи, поглаживая свою ухоженную седую бороду. На нем был бешмет из серого сатина, легкие брюки из темного ситца, а голову украшала бухарская папаха, которую он, сняв, положил рядом с собой на стол...

Когда старуха, расстроенная исповедью, закончила ее, Худодот угостил ее чаем и сказал:

— Скажи дочери, пусть она сегодня придет ко мне. Попробую ей помочь...

Одаренная добрым словом, старуха стала его без конца благодарить, поминутно улыбаясь от радости.

В тот же день Худодот принял и ее дочь. Подробно расспросил, выслушал ответы, потом встал, хитро улыбнулся, и как полководец, задумавший тайный тактический ход, смело направился к своей комнате.

Молодая женщина сперва опешила от вопросов старого Худодота, в какой-то миг

она внутренним чутьем, только им, женщинам, понятным, уловила в глазах старика даже осуждение в свой адрес, однако вопросы мудреца были настолько разнообразными, затрагивали такое обилие жизненных ситуаций, что она так и не сумела понять и найти между ними логической связи.

— Скажи, дочка,— спросил старик,— твой муж раньше выпивал?

— Нет,— ответила она,— пьет чуть больше двух лет.

— А когда он пьяный возвращается домой и ругается с тобой,— снова спросил Худодот,— что ты делаешь?

— Я? — переспросила она.— Что я делаю? Я говорила ему, что это вред, что так можно спиться, что это к добру не приведет. Я и молчанием, и криком старалась разбудить его разум, да куда там...

Вот после этого ответа и встал Худодот со своего места и шагом уверенного в своих действиях человека направился зачем-то в свою комнату.

Вернулся он, держа в руках завернутый в целлофан женский носовой платок, который протянул женщине.

— Вот, дочка, это тебе и, если хочешь помочь себе, выполни одно условие...

— Я все сделаю, как вы велите,— в недоумении ответила она,— только я ничего не пойму...

— Все поймешь потом,— твердо сказал старик,— а условие такое: когда твой муж придет пьяный домой и начнет скверносло-

вить в твой адрес, ты возьми этот платочек в рот и зажми его зубами.

— Как?.. — не поняла женщина.

— А так! — И показал старик, как это следовало сделать. — И до тех пор, пока он не успокоится, зубов не разжимай. Иначе я тебе не помощник. На, возьми этот платок и помни о нашем уговоре.

Женщина с надеждой взяла платочек и направилась домой.

Как и следовало ожидать, муж и в этот вечер вернулся домой, мягко сказать, навеселе и уже с порога, заметив жену с ребенком на руках, заплетающимся языком запел знакомую песню:

— А-а, мо-я до-ро-га-я стер-вуш-ка, ждешь, когда я по-дох-ну?

Женщина молниеносно выхватила спрятанный на груди платочек и зажала его в зубах. Муж тупо, выпученными от выпитого, невидящими глазами глянул на это непривычное действие жены, криво ухмыльнулся, пальцем покрутил у виска, мол, никак жена свихнулась, и, повернувшись к ней спиной, пошатываясь пошел к дивану, продолжая при этом матерщинить, переходя от мажорных тонов к минорным, доходя порой до фальцета.

На второй день пьяный муж был слегка шокирован, ибо и на этот раз он полностью не осознал происшедшей в жене перемены, когда увидел, как жена после первых же его вульгарностей зажала в зубах платок, со страхом ожидая его дальнейших действий. Он

остановился рядом с ней, качаясь, почти невидящими глазами уставился ей в лицо, ухмыльнулся и нечленораздельно произнес:

— Ин-тер-рес-но...

После этого он еще дважды делал шаг вперед, потом поворачивался в сторону жены и произносил тупо и тоскливо:

— Ин-тер-рес-но...

Но действий не последовало.

По утрам, заметив внимание жены: вычищенные и выглаженные брюки и рубашку, готовый завтрак на столе, он как-то виновато опускал голову, завтракал и будто пристыженный устремлялся на работу с твердым намерением не пить и разгадать это невероятное и непонятное действие жены с платком.

Но как ни ухитрялся он улизнуть от назойливых друзей, пару кружек пива он все же выпивал и возвращался домой навеселе, хотя назойливая мысль о действиях жены сбивала его с «кайфического» настроения и переносила к раздумьям.

Однако и на этот раз, заметив накрытый к ужину стол, убранную чистую квартиру, в его больном мозгу вдруг шевельнулась дикая мысль: вспыхнуло подозрение к жене, что, мол, не зря все это, что-то подлое задумала эта змея, которая поедом ест его в последнее время, и он с криком выплеснул на нее целый ушат такой матерщины и сквернословия, что только уши затыкай да беги из дома.

Но женщина... Ах, женщины, где вы берете столько мужества?! Женщина снова схватила

платочек и так крепко зажала его в зубах, что невольно полились из глаз ее горькие слезы.

— Ты чего? — слетело у него с языка, будто просветлело вдруг в его затуманенном мозгу. — Что с тобой? — недоумевая, спрашивал он молчавшую женщину, и лишь слезящиеся испуганные глаза ее смотрели с укором и затаенной болью.

Что тогда произошло с ним, какое счастливое событие высветилось в его памяти, что вспомнил, чего устыдился — никому не ведомо, но что-то в нем надломилось, его всколыхнуло и словно взрывной волной выбросило на чистый берег, мгновенно протрезвел его лихорадочно боровшийся мозг... С этого дня он перестал пить, стал избегать дружеских пирушек, «пьяных» лавок на улицах, веселых встреч у пивных... Потекла нормальная семейная жизнь, в дом вернулось счастье...

— Вот видишь, дочка, как порой не надо спешить, — радовалась старая мать, слушая рассказ счастливой дочери. — Надо бы отблагодарить мудрого Худодота, надо же — одним платочком.

На следующий день старая женщина достала из своего сундука незамысловатый подарок, купила сладостей для внуков Худодота и направилась к мудрому старику в гости.

Выслушав старуху, Худодот был крайне обрадован таким исходом, угостил гостью чаем, однако последний вопрос старухи вконец развеселил старика.

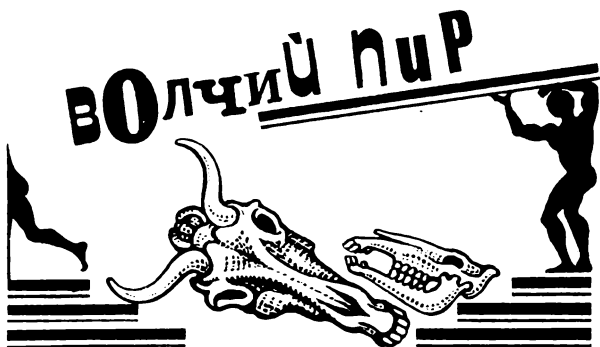
— Ты знаешь, Худодот, я всегда восхищалась твоей мудростью, умением найти выход

из самого трудного положения,— возвращая платочек, говорила она воодушевленно,— но одно не могу взять в толк: что означает этот платочек, который зажимала в зубах моя дочь? — И, заметив веселые искорки в глазах Худодота, старуха просительно добавила: — Ты извини меня, старую, но никак не могу взять в толк...

Старик, подавив улыбку, убежденно ответил:

— Нет, соседка, не платок она зажимала в зубах, а чуть было не потерянную свою... выдержку.





Нас трое. Или, как называют нас за глаза, «дружная тройка». Живем мы на селе и учимся в десятом классе. В прошлом году, на летних каникулах, за хорошую работу в колхозе — вдвоем мы убрали за сезон свыше пятидесяти тонн винограда — нас наградили двухнедельными экскурсионными путевками в Ленинград. А потом мы несколько месяцев только и знали, что рассказывали всем о красотах этого дивного города: об Эрмитаже, Исакиевском соборе, о фонтанах Петродворца и поразивших наши взоры богатырях — Атлантах, державших на своих могучих плечах огромные дворцы...

— Как это?.. — никак не могла сообразить наша бабушка. — Они что, живые?

— Кто? — спрашиваю.

— Ну, эти Атланты?

— Нет, — говорю улыбаясь, — это статуи, поддерживающие перекрытие здания, ну, как столбы, которые держат нашу крышу...

— И сколько их под каждой крышей? — не унималась бабушка.

— Где как, — отвечаю, — бывает по четыре, бывает и больше...

Мы так и не смогли бы понять, почему бабушка, никогда в жизни не обучавшаяся и, естественно, не прочитавшая ни одной книжки, так заинтересовалась этими Атлантами, какие ассоциации вызвали они в ее любознательной голове, если бы не случай.

Нынешней весной, когда враз пошла травка на лугу, нашу «дружную тройку» родители послали на ночную пастьбу коров. Завтра воскресенье, решили они, на учебе нашей это ночное бдение не отразится: мол, успеем уроки сделать да поспать, и единодушно поручили нам принадлежащее колхозникам стадо. Мы, конечно, были этому очень рады, еще бы, впереди была целая ночь, и мы могли вдоволь наговориться...

Перво-наперво мы пригнали коров на отведенную колхозом богатую травой «клетку», за пределы которой нам строго запретили выходить. Прежде всего, потому, что там начиналась опушка леса, где по ночам выходили «на охоту» голодные волки и, видимо, еще, чтобы не затоптать травостой новой «клетки», куда намечалось вывести это же стадо на следующую неделю.

Мы пустили коров по зеленому ковру, развели с трех сторон костры и стали следить, чтобы наши буренушки не нарушили «территориальной конвенции», не перешли установленную границу. Коровы, которым были невдомек наши опасения, сразу пошли щипать зеленую траву, и хрупкую ночную

тишину нарушило их мерное пожевывание.

Вначале мы, разговаривая, ходили от одного костра к другому, подбрасывали новые сучья, чтобы не потух огонь. Затем, положив в золу несколько картофелин, собрались у одного костра, но зорко следили за стадом и за другими кострами. Когда была съедена картошка и вконец надоела болтовня, решили разойтись по кострам и, поддерживая их, изредка окликать друг друга, чтобы тепло огня никого не сморило.

Ночь перешагнула за вторую половину. Каждый из нас резвился у костра, прыгал, пел песни, плясал и сразу откликался на зов товарища. Потом, видно утомившись, прилегли поближе к теплу и в надежде, что товарищ бодрствует и при надобности окликнет, все трое — кто раньше, кто чуть позже — заснули...

Проснулись мы от отчаянного лая собак. Забрезжил рассвет, догорала последняя звездочка. Никак сразу мы не могли взять в толк, откуда здесь взялись собаки? Однако в следующую минуту я заметил, как почти под самым моим носом, у опушки леса, две озверевшие от лая собаки набросились на загубившего одну из наших коров матерого волка.

Стадо, сбившись от страха в круг, дико мычало. Костры наши потухли. Волк, изредка огрызаясь на дворовых собак, продолжал свой кровавый пир. Лишь когда на него с дубинкой накинута и хозяин собак, такой же как и мы пастух из соседнего села (да и мы

бросились на помощь), волк нехотя оторвался от своей разодранной жертвы, схватил окровавленный кусок, еще раз оглянулся кругом и стремглав кинулся в лес...

Потом тот же пастух рассказал нам, что он решил уже возвращаться домой со своими овцами и мог пройти мимо, если бы его собаки не учуяли беду и не подняли тревогу. Они кинулись к опушке, увидели огромного волка и от страха подняли страшный лай, отчего он и кинулся сюда. Заметив наше состояние, пастух сперва стал нас успокаивать, потом, разобравшись в ситуации, недовольно покачал головой: был крайне удивлен, как это мы, все трое, бездумно могли оставить стадо на произвол судьбы. Мы, пряча от стыда глаза, пришли в еще большее отчаяние.

Не стану дальше рассказывать о нашем позоре, но в селе только об этом и говорили. Наши родители, сложившись, купили хозяйину загубленной коровы другую, так у нас заведено — кто виноват, тот и расплачивается. Но не могу умолчать о моей встрече с бабушкой после злополучной пастьбы.

— Ну что, внук, — пряча улыбку в уголках морщинистого рта, спросила она меня, — рухнул твой дом? Тяжело было?

— Какой еще дом? — ничего не понимая, спросил я.

— Ну, тот, который вы втроем держали? — снова, улыбаясь, сказала она.

— Ты что-то путаешь, бабуля, — сказал я в ответ и хотел было уйти от нее прочь, но бабушка, крепко схватив меня за руку, усадила рядом.

— Ты подожди, внук, не торопись убежать, сумел напакостить, сумей и выслушать.— Она строго посмотрела на меня и добавила:— Помнишь, ты рассказывал о тех Атлантах, которые держат на своих плечах большие дома?

— Помню,— в недоумении согласно кивнул я.

— Так вот, внук, крепко запало мне это в душу,— продолжала бабушка,— подумалось мне, что если они живые, как ты или как твои товарищи, тяжело им всю жизнь держать эти крыши и... вот однажды ночью один из них подумал: дай, мол, я выйду из-под своей ноши, освобожусь ненадолго, а мои друзья подержат...

— Ну ты даешь, бабуля! — удивленно и весело заметил я, зачарованно взглянув на бабушку.

— Ты слушай и не перебивай,— строго одернула она, положив на колени свои жилистые натруженные руки.— Сказал это один из Атлантов и сделал — вышел из-под крыши, бросил свое дело, возложив его на другого, расправил плечи и пошел гулять... Не знал, не ведал он, что о том же, в то же время подумали и другие Атланты и сделали то же самое. И дом, который они держали, рухнул, внук...

Только сейчас понял я намек моей мудрой бабушки и от тяжести вины своей опустил голову.

— Запомни, внук,— заметив мое состояние, уже мягче продолжала бабушка,— если каждый из нас будет с душой выполнять свое дело, дома наши никогда не рухнут...



ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Обо всем рассказал нам на годекане старик-дровосек, или «бешчи», из аула Джалган, что расположен на одной из вершин Кавказского хребта, откуда хорошо видны воздвигнутые сасанидами стены древнего города. Начав с шутливой побасенки насчет «некоторого царства и некоторого государства», он без околичностей сразу перешел к рассказу о тех временах, когда семеро его детей были мал-мала меньше и когда хлеб насущный добывал для них своим нелегким ремеслом.

С утра отправлялся он в лес, рубил дрова, разжигал костры, изготавливал уголь, набивал им большой мешок (говол), клал его в легкую двухколесную коляску, которую прятал в тайнике, запрягался в нее, тянул через лес и горные кручи по одному ему известной тропинке, а там, взвалив на спину объемистую ношу, спускался вниз, в город.

И как только на улицах города раздавался хриплый, простуженный голос дровосека: «Беш-ш! Беш-ш! Куьмуьр!» — так сразу же из

дворов высыпали женщины и нарасхват раскупали его немудреный товар.

Так ежедневно, распродав уголь и хворост, отправлялся он на базар, делал нужные покупки и снова с ношей или налегке совершал по горным кручам многоверстный путь обратно в аул.

— Когда старшему сыну исполнилось пятнадцать лет, — хитро пряча улыбку, продолжал старик, — обрадовался я, думаю, вот и помощник подрос, и взял его с собой в лес. Навалили дров, разожгли костры, приготовили и загрузили мешки углем и, взвалив каждый свой на спину, отправились в город...

Старик хмыкнул, кашлянул в кулак, вынул из кармана старый затертый портсигар и затейливую самодельную трубку из дуба, неторопливо извлек сигарету, разорвал и высыпал ее содержимое в ладонь и, беря большими огрубевшими пальцами по щепотке махорки, стал набивать трубку... Затем так же неторопливо достал коробок, зажег спичку и жадно, чмокая губами, втянул в себя несколько глотков ароматного дыма...

«Небось, и трубка с «тех» времен!» — разглядывая потускневшие от никотина узоры старицкой самоделки, подумал я, но рассказ дровосека не прервал, ибо не велят традиции молодым вмешиваться в разговор аксакалов.

— Не знаю, что тогда с ним произошло, — продолжал старик, — устал сынишка мой или в самом деле заболел, не знаю, но не прошли мы и версту, как заявил он, что у него

разболелся живот и дальше пойти не сможет... Что было делать? Вытащил я из тайника коляску, бросил один мешок, потом второй, поверх всего этого посадил сына и поволок.

Старик выпрямился, раздвинул широкие плечи, отчего сползла с них, видно, не по размеру пришедшаяся бурка, и снова поднес он трубку к губам.

— Скрипит коляска под непривычной тяжестью, с трудом тяну, проклятую, навстречу ветру, а у самого дума из головы не выходит: как с этим грузом до города добраться...

Вдруг по всему лесу пронесся шум: ш-ш-ш... и то тут то там раздавался сухой скрипучий треск...

«Что это за шум, отец?» — спросил меня сын.

«Это ветер, сынок, — отвечаю, — растревожил деревья, расшатал их, вот им и больно...»

Отвечать-то отвечаю, а самому от встречного ветра тоже нелегко. Однако не успел сделать сотни шагов, как издалека донесся тоскливый протяжный вой.

«Что это, отец?» — снова встревоженно спрашивает сын.

«Это шакалы, сынок, голодные, наверное, вот и воют...»

Уже у самой опушки вдруг где-то совсем рядом, словно морзянкой простучал кто-то по широкой лиственнице: тук-тук, тук-тук...

«Кто это стучит, отец?» — удивленно спрашивает с коляски сын.

«Это дятел, сынок,— с трудом передвигаясь, отвечаю,— есть птица такая, клювом корм себе добывает...»

— Не стану утруждать вас подробностями того дня,— продолжал рассказчик,— не в них дело: трудностями у нас никого не удивишь. Труженик, что твой глиняный кувшин: упал камень на кувшин — горе кувшину, упал кувшин на камень — все одно, горе кувшину... э-хе-хе... Да-а, скажу вам правду, хотя оба мешка мне пришлось тогда взвалить на себя, но ближе к городу сын шел уже веселее, а на улицах мешок свой нес сам. Вот так.

Через несколько дней я снова взял сына с собой в лес, но на сей раз с тайной мыслью испытать его... Деда и прадеды наши нередко устраивали нам подобные испытания, и, согласитесь, они служили добрыми уроками в жизни, обязательно оставляли след...

На этот раз сын работал расторопно. Скоро нашли мы сухие мертвые деревья, порубили, разожгли костер и, когда древесина обуглилась до нужного предела, сбросили все еще горячие обрубки в заранее заготовленную яму, а потом накрыли ее тонким слоем земли. Готовить древесный уголь, скажу вам, дело нелегкое. Кроме труда, оно требует еще сноровки, умения, да что я вам объясняю!..

Набрали мы в свои мешки все еще тепленькие, но уже безжизненные угли, загрузили ими коляску, как тут я, охнув, схватился за ногу и, будто от боли, присел на пенек.

«Что случилось, отец?» — встревоженно бросился ко мне сын.

«Я, кажется, подвернул ногу, — как можно естественнее ответил я и твердо добавил: — Бери свой мешок и иди в город, я останусь здесь...»

«Что ты говоришь, отец? — недовольно сказал сын. — Я тебя одного в лесу не оставляю...»

«Как же быть?» — растирая мнимо подвернутую ногу, спрашиваю я.

«Садись на коляску, — отвечает сын, затем помогает мне сесть на край коляски, — я попробую дотащить ее до тропинки, а там видно будет...»

Хотя незаметно для сына, отталкиваясь ногой, я и помогал ему тянуть коляску, все же чувствовал, что силенок у парня маловато. Однако начатую игру решил довести до конца. И когда раздался в лесу перестук дятла, я притворно спросил его:

«Кто это стучит, сынок, ты не знаешь?»

«Дятел, кажется», — нехотя ответил он.

Потом где-то вдали завывли шакалы.

«Кто это воет, сынок?»

«Шакалы воют. Сам же говорил», — недовольно отвечал сын.

А когда я в третий раз спросил его, что это за птица, которая взлетела прямо рядом с нами, он в сердцах вскричал:

«Что да что! Я тут еле коляску тащу, а ты вопросами сыплешь! Слазь, не могу больше». — И он устало сел на землю...

Я поднялся с коляски, прихрамывая,

подошел к нему, сел рядом, положил левую руку на его хрупкие плечи и, продолжая правой массажировать ногу (игру надо было довести до конца), сказал:

«Один отец, говорят у нас, семерых сыновей вырастит, на ноги поставит, а у семерых сыновей для одного отца сил не хватит...»

Опустил голову и задумался мой сын, задумался... А я, вспомнив древнюю притчу, прижал сына к своему уставшему от труда и забот телу и продолжил:

«Недалеко от этих мест, может быть там, в нашем древнем городе, решил один севдегер построить себе дворец и пригласил для этого одного известного мастера-каменщика, которому установил царскую плату: пять эршефи в месяц и выплачивать их на двадцать девятый день каждого месяца. Шли месяцы, и по мере того как строился дворец, ежемесячно, в установленный день, хозяин выплачивал мастеру пять эршефи.

Но однажды опоздал севдегер с выплатой мастеру, не успел вернуться домой к установленному дню, случилось непредвиденное — заболели вьючные животные и караван задержался в пути еще на одну неделю. И каково же было удивление хозяина, когда мастер, получая плату, высказал неудовольствие.

«Что? Ты недоволен, уста? Я плачу тебе ежемесячно пять эршефи, и их хватит не на одну семью. Куда же ты их тратишь?»

«Два эршефи — я ежемесячно возвращаю долг, — ничуть не смутившись, ответил ус-

та, — один эршефи даю в долг, один выбрасываю, а один — съедаю сам».

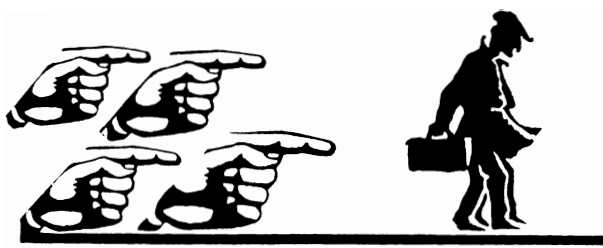
«Ты говоришь загадками, уста, — снова удивился севдегер. — Может быть, ты все-таки объяснишь это?»

«Что ж, объясню, — ответил уста. — В моей семье в добром здравии живут мои отец и мать, они вскормили и вырастили меня. Так вот, в два эршефи я ежемесячно возвращаю им сыновний долг, один эршефи я, как каждый родитель, отдаю в долг сыну, четвертый эршефи я расходую на приданое своей дочери, считай, выбрасываю, ибо все это вместе с ней уйдет в другой дом, а пятый, дорогой севдегер, я расходую на себя и свою жену...»

На годекане установилась тишина, которую нарушил лишь глухой старческий кашель.

— Знаю, знаю, — улыбнулся старик, обнажив изъеденные жизнью остатки зубов. — Вас так и прорывает спросить, как, мол, сын, оправдал ли отцовские надежды? Не скрою свою радость: с того дня, когда сыну впервые открылась изнанка жизни, он никогда не сказал мне слова против и достойно исполняет свой сыновний долг...





Шахский плов

Они росли вместе, на одной сельской улице, босоногие лазили через общий дворовой забор и одинаково получали затрешины за краденные с колхозной бахчи дыни и арбузы, учились в одном классе и окончили одну сельскую школу, вместе оплакивали своих отцов, когда получили похоронки с войны, вместе голодали в годы учебы в институте и считали великой удачей, когда удавалось в рабочей столовой досыта наесться хлебом с горчицей, вместе окончили сельскохозяйственный и даже женились потом на сестрах из соседнего села. Одного звали Шолум, другого — Пинхас.

Но как это часто случается в жизни, если Шолум был несколько горяч, нетерпелив, то Пинхас был уравновешен и трудолюбив, если первый мог порой едко надсмеяться над товарищем, смотрел на всех свысока, то второй был, наоборот, добр и дружелюбен. Если Шолум учился легко и считал, что дело не в знаниях, а в дипломе, мол, важен

результат, то Пинхас учился, как говорится, на совесть, всего добивался своим «горбом» и окончил институт с «красным» дипломом.

Правда, в жизни не всегда так бывает, но случилось, что Пинхаса избрали в родном селе председателем колхоза, а Шолум стал его агрономом. И снова вместе, засучив рукава взялись за колхозное дело, впряглись в этот тяжелый воз. И хотя с натугой, не сразу, с годами, но все же потянули его в гору. И пошли дела: щедрее стали поля, урожайнее виноградники, веселее народ. Даже убыточные фермы стали приносить прибыль.

Появился достаток и у сельчан: дома ставят двухэтажные, наверху жилье, а внизу загон для скота, наряднее стали женихи и невесты, некоторые механизаторы обзавелись даже собственными автомашинами. Да что говорить! Люди стали жить лучше. И как результат, народ потянулся в колхоз, сердцем почувствовал в нем опору.

Почет и председателю. За дела добрые, за заботу о людях и к нему с вниманием: премии и ордена, депутатом избрали, в столицу стал ездить посланником колхоза.

Но... с некоторых пор стали наезжать в колхоз не только делегации за опытом, но и проверяющие... Кто-то слал отсюда письма тревожные, что, дескать, цифры в отчетах председателя дутые, обманывает, мол, всех; что не множит, а разбазаривает он добро народное: «верхам» — подарки и сам наживается; что придирами «измордовал» людей, ни с кем не считается, а совсем недавно

выгнал из колхоза лучшего механизатора... И писем таких становилось тем больше, чем лучше шли общие дела.

Приезжали комиссии, проверяли, отрывали от дела людей, дотошно до всего доискивались, а потом в недоумении разводили руками и уезжали ни с чем — поклеп на председателя не подтверждался. Правда, факт отстранения пьяного тракториста «имел место», но над этим «фактом» смеялись потом и члены комиссии, и, стыдливо пряча глаза, сам «пострадавший».

Однако поток жалоб, а вслед за ними и комиссий не уменьшался. Стало ясно, что какой-то завистник решил довести Пинхаса до белого каления, извести его и выжить. Расчет был верным: верхушку, хотя они и поддерживают председателя, жалобы эти, наконец, выведут из себя, всем эта канитель надоест, и председателя переизберут. Поняли это колхозники и обратились в компетентные органы — вывести тайного писаку на чистую воду. И вывели. Им оказался... агроном колхоза Шолум.

Первым узнал об этом уже под вечер председатель колхоза Пинхас и, распереживавшись, до утра не сомкнул глаз. Он ждал чего угодно, только не этого. Не мирился его ум, не принимало сердце, что Шолум так жестоко мог оскорбить их дружбу, вот уже несколько лет подло и тайно «стрелял» ему в спину. Он много выстрадал за эту ночь...

Несмотря на то, что виновник его сердечных болей и бессонных ночей, наконец, был

найден, Пинхас все же не хотел его всенародного обсуждения, его доброе, больное сердце было против подобной кары для своего бывшего друга, даже если он и оказался столь подлым и коварным, однако колхозники были непреклонны...

— Когда-то мы с тобой сидели за одной партой, помнишь? — обратился к Шолуму на общем собрании колхозный весельчак Лути-пути. — Теперь же ты мне и руки не подаешь, как же, королевской крови!..

Волной прокатился смехок, колхозники удовлетворенно задвигались.

— Тебе все мало, к власти лезешь, — совсем невесело продолжал Лути-пути, — председательское кресло любым путем, пусть подлостью, коварством, жестокостью, все равно... Была бы твоя воля, ты бы и через нас перешагнул, никого б не пожалел. — Он вдруг умолк, тяжело опустил голову, словно не Шолум, а он был виновен в происшедшем, нервно сжал кулаки и так же внезапно, выговаривая каждое слово, громко добавил: — Что ты за фрукт, мы хорошо знали, многое прощали, наверное, так надо, ибо все мы — люди, не без щербинки, но такое простить нельзя, нет тебе больше нашей веры!

По залу прокатился гул одобрения! Возмущенные голоса требовали исключить Шолума из колхоза и предать суду за клевету, за нарушенный покой. Чувствовалось, что колхозники настроены воинственно, не намерены прощать виновника, обстановка накалилась

до предела, слишком долго испытывали их терпение и так бесцеремонно пренебрегли их доверием...

Опустив голову, пряча от людей глаза, сидит у стенки, в самом конце первого ряда Шолум. Только сейчас осознал он... Нет, не глубину своего падения, не меру подлости и предательства, а тяжесть нависшего над ним возмездия. И все нутро его затрепетало, содрогнулось, в поисках выхода заставило лихорадочно заработать мозг, приготовить к действию сильное, холеное тело. Шолум понял, что если его сейчас простят, то потом все обойдется... и он встал. Жестикуюлируя руками, с гримасами отчаяния, он начал было что-то объяснять, стараясь спасти себя в этот критический момент... Однако в следующую минуту из первого ряда поднялся высокий старик, и словно по мановению волшебной палочки в зале установилась тишина. Замолк и Шолум. Старик сперва кашлянул, отвернулся от Шолума, словно его и не было в зале, и заговорил:

— Когда человек объясняет свою подлость, это вдвойне подло! Но я не об этом, я о сути хочу сказать. Ты не возражаешь, председатель? — обратился он вдруг к Пинхасу.

— Пожалуйста, дедушка Худодот, — ответил Пинхас и жестом пригласил его к трибуне.

— Нет, нет, спасибо, сынок, я вот отсюда, с места.

Старый Худодот снова кашлянул и начал рассказ:

— Однажды один бедняк шел мимо шахского дворца и остановился, пораженный, у его ворот — его чуткий нос уловил вкусный запах богатых приготовлений. Не в силах оторваться и уйти, он стоял и вдыхал этот гипнотизирующий аромат. Случилось так, что в это время шах стоял у окна и заметил у ворот подозрительного человека.

«Эй, визирь! — крикнул он. — Там, у ворот, какой-то человек, приведите его...»

Воля шаха была тут же исполнена.

«Что ты там, у ворот, делал? — сурово спросил шах бедняка. — Никак обворовать меня собрался?»

«Да что ты, мой великий шах, — упав ниц, отвечал бедняк. — Я прихожу к твоему дворцу, чтобы вдыхать вкусный запах твоих редких блюд, и не только сам насыщаюсь, но, выдыхая дома, кормлю и детей... Я весьма благодарен тебе, мой господин...»

«Ах, так, — поразмыслив, отвечал шах, — в таком случае я окажу тебе еще одну милость». — И он приказал визирю ежедневно давать бедняку целый казан еды.

«Откуда это?» — спросила бедняка удивленная жена, когда тот первый раз принес домой еду с шахского стола. И была крайне обрадована, когда узнала о величайшей милости.

Заметив почтительность бедняка, шах решил пойти еще дальше, он решил сделать из него богатого вельможу, и, когда тот

пришел в очередной раз за едой, шах приказал визирю наполнить казан золотыми монетами, а сверху прикрыть пловом. И вот, когда бедняк шел с казаном домой, ему повстречались два человека.

«Слушай,— сказал один из них бедняку,— угости нас пловом, больно вкусно пахнет, тебе все равно столько не съесть...»

«Э-э, нет,— отвечал бедняк и, взглянув на просителей свысока, добавил: — Таковую пищу едят только два человека: я и шах!»

«Ну-у? — удивились те.— Тогда продай этот казан с пловом...»

«Нет»,— отвечал бедняк.

«Два золотых!» — предложил тот.

«Нет»,— был ответ.

«Пять!»

«Нет»,— снова отвечал бедняк и продолжал идти дальше.

«Десять золотых!» — не унимались просители.

«Не-е-т»,— уже нерешительно отвечал бедняк, и, когда те предложили ему двадцать золотых,— не устоял...

— Отдал казан? — вдруг вырвалось у одного из колхозников.

— Ш-ш... ты,— зашикали на него со всех сторон, и все снова успокоились.

— Когда же он и на следующий день появился в шахском дворце,— продолжал старый Худодот,— шах вызвал его к себе и презрительно бросил в лицо:

«Я хотел тебя вельможей сделать, думал, есть в тебе добрый зачин, но, видно, рабскую

душу твою не переделать... Ступай и больше здесь не появляйся, иначе будешь висеть на том столбе у ворот, откуда тебе так милостиво улыбнулось счастье!...»

Старик умолк, медленно, нехотя повернулся к Шолуму и негромко, но сурово сказал ему:

— Ступай от нас, видно, твою мерзкую душу не переделаешь...





— Ты вот что, Бирор,— деловито сказал бригадир, подозвал к себе смуглого и черноволосого молодого рабочего, а потом, спохватившись, вдруг удивленно спросил: — Кстати, что ты здесь делаешь? Вся бригада там, на участке,— он кивком показал в сторону работающих виноградарей,— а ты здесь разгуливаешь?..

— Не гуляю я,— обиженно опустив голову и исподлобья глядя на бригадира, ответил черномазый.— За секатором ходил.— Он протянул руку и показал инструмент.— Мой поломался...

— Извини, коли так,— миролюбиво сказал бригадир и добавил: — Вон, видишь, у склада машина стоит? На ней опрыскиватели привезли, в ящиках, тяжелые, черти, одному не сдюжить: штук по десять в каждом... Беги туда, поможешь Бобоилу... Да вы, кажется, друзья?..— вспомнил он вдруг.

— Ну?!— то ли утвердительно, то ли с

оттенком некоторого недовольства ответил Бирор.

— Вот и хорошо,— не обратив внимания на его тон, продолжал бригадир,— поможешь ему разгрузить машину, вдвоем сподручнее... Дал бы еще подмогу, да некого...— Он удрученно развел руками и показал в сторону работающих на соседнем участке товарищей.— До них не дозваться, а шофер торопит...

Бирор, не дослушав последних слов, направился к приютившемуся меж высоких пирамидальных чинар складу, рядом с которым, вся из стекла и железа, блестела под солнцем отделенческая столовая, где ближе к обеду собираются обычно рабочие совхоза. А бригадир, взглянув на часы, торопливо зашагал к работающим на винограднике товарищам...

Не по-весеннему припекало солнце. Время шло к обеду. Это было видно и по тому, как, оставив работу, меж виноградных рядов неторопливо шли к столовой рабочие. Шли не вместе, а каждый по своему ряду, кто по привычке прихватив с собой хурджин с домашней едой, а кто с намерением отведать совхозных харчей.

В одном из рядов, неуклюже припадая на обе ноги, словно обезьяна, свесив не по росту длинные, натруженные руки, двигался рыжебородый поливщик Одом, балагур и весельчак. Он на ходу рассказывал скабресный анекдот, отчего в соседних рядах слышались громкий смех и одобрительные возгласы.

— Слушай, Одом! — смеясь, говорил об-

резчик Мунош.— Ты хоть при молодых не рассказывай этой похабщины...

— Э-э, друг мой,— вспомнив о чем-то, серьезно, без улыбки отвечал Одом,— эти молодые, к сожалению, давно потеряли целомудрие... так что не беспокойся...

Шла к концу и разгрузка опрыскивателей. Бирор и Бобоил, в мокрых от пота рубашках, дружно потащили к краю кузова последний ящик, прыгнули с машины, подхватили груз с двух сторон, как вдруг Бирор дико взвыл и выпустил из рук ношу. Ящик ударился об угол кузова, резко накренился в сторону Бобоила, придавил ему пальцы левой руки и, к счастью, не упал на парня всей своей тяжестью, а грохнулся к самым его ногам.

Все бросились к пострадавшим, чтобы оказать им помощь, и оторопели от недоумения, когда увидели, что Бирор, хотя и вскрикнул от боли, вовсе не пострадал и мог несколько секунд выдержать, не подвергая друга смертельной опасности. Бобоилу же наскоро перевязали опухшие и посиневшие пальцы смоченной в холодной воде тряпичей и отправили в больницу.

— Ты что же это?.. — удивленно спросил Бирора бригадир.— Как ты мог отпустить ящик? Ведь он может теперь пальцев лишиться...

— Что-то врезалось в руку, не вытерпел... — опустив голову, виновато отвечал Бирор.

— «Не вытерпел», «врезалось»... — недовольно передразнил Бирора бригадир, а по-

том, схватив кисть его руки, выставил напоказ: — Вот, даже царапинки нет... У-у, откуда только вы такие беретесь, а еще говорит «верный друг», «всегда подставляю свое плечо». — И резко, отбросив чужую руку, добавил: — Не верю я такой верности...

Он устало сел на скамейку под чинарой, взял из сумки термос, нервно отвинтил крышку, налил в нее чаю, глотнул и, словно продолжая давнишний с кем-то спор, убежденно сказал:

— Не-е-т, не верю я такой верности. Вот наши матери — это да, остались верны своим мужьям до конца, до могилы... вырастили детей за двоих, подставив свои хрупкие женские плечи, несли после войны тяжелую семейную ношу... Верность — это... если хотите знать, стойкость и неизменность во всем: в большом и в малом. — Он вспомнил о чем-то, и его лицо просветлело от улыбки. — Вот дед мой рассказывал, в одном из наших сел полюбили два друга одну красивую девушку...

Он положил руку на плечо присевшего рядом рыжебородого поливщика и, оглядев собравшихся вокруг товарищей, продолжил:

— Представляете, они были... даже не как эти два чинара, — он взглядом показал на устремившиеся в высь деревья, — а как... две руки одного тела, как две кроны одного дуба. Да что там, лучше сказать, как две половины одного целого... Втайне друг от друга полюбили одну... А она, сами понимаете, сердце свое отдала лишь одному из них...

И вот перед самой свадьбой случилась беда...

— Неужели друг убил жениха? — вырвалось у Одома.

— Ш-ш... ты, — зашикали на нетерпеливого.

— Нет, друзья мои, — ответил бригадир, — случилось самое невероятное. Каким-то непонятным образом местному беку стало известно о редкой красоте невесты, и он... за долги ее родителей приказал привезти ее ему в жены.

— Как?! — вырвалось сразу у нескольких слушателей.

— А вот так! — продолжал свой рассказ бригадир. — Послал своих нукеров, и все тут... Ну жених, конечно, взорвался, огонь был парень, собрал всю молодежь села и пришел к беку... Так, мол, и так, бек, прикажи сделать все что угодно, а от своего намерения откажись, иначе такого петуха пущу по твоему хозяйству, что жить не захочешь...

— Молодец, парень, не струсил, — сказал кто-то из виноградарей, но на него тут же прикрикнули.

— Бек, было, сперва взбесился, — допив свой чай, продолжал рассказчик, — а потом, поразмыслив, решил не играть с огнем. Хорошо, говорит, коль ты такой смельчак, и хитро улыбается. Село, говорит, ваше лежит меж двух горных вершин, а на одной — скала. Так вот, говорит, привяжу тебя к скале, и если, мол, ночь выдержишь, то невеста — твоя... Жениху, как вы понимаете, отступить было некуда.

— Вот сволочь! — выругался обрезчик Мунош.

— Да, — согласился бригадир. — Коварный бек все рассчитал, знал, что если орлы не заклюют привязанного к скале человека, так тот окоченеет от лютого ночного холода на вершине. Смерть была неминуема...

— А что же его друг? — снова спросил нетерпеливый Одом.

— Вот об этом и весь сказ, — подхватив вопрос Одома, продолжал бригадир. — Вначале друг, было, обрадовался такому повороту событий. Подленький червь эгоизма, видно, точил его изнутри: мол, мне не повезло, так пусть же и тебе, дружок, она не достанется. Не обессудь, мол, чем я хуже тебя и так далее...

— Да как он мог? — возмутился, было, Одом.

— Ты подожди, сабурсуз, не перебивай, — остановил его бригадир, — дай дорассказать... Так вот, потом стал, видно, проклипать себя за такие мысли, не находил себе места, думал, метался, его мучили угрызения совести, что в этот трудный час он ничем не может помочь другу... В самом деле, как ему поступить? Пробраться к скале и накрыть друга чем-нибудь теплым — значить погубить и его, и себя: все пути к скале охраняли нукеры бека. Не допустить к нему хищных птиц он тоже не мог, и потому, как голодный волк, он был от безысходности, от осознания своего бессилия...

— Неужели погиб парень? — обеспокоенно спросил один из рабочих.

— Нет, друзья, не погиб,— озадаченный таким участием собравшихся, улыбнулся бригадир,— свершилось чудо. Когда утром, злорадствуя и смеясь, на вершину скалы поднялись нукеры бека, они были поражены мужеству джигита...

— Остался жив? Как? — недоумевающе спрашивают бригадира разом несколько виноградарей.

— Вот что было дальше,— отвечал бригадир.

«Как ты выжил, молодец? — несколько удрученный, но все же пораженный мужеством парня, спрашивает бек.— Никому еще этого не удавалось...»

«Меня согревал костер, бек!» — пряча усталую улыбку в уголки рта, смело отвечает джигит.

«Как?!» — вскричал бек и свирепо взглянул на притихших нукеров.

«Нет, бек, они не виноваты,— успокаивает его джигит,— они верно тебе служат. Я грелся от костра, который горел в эту ночь на другой стороне села, на противоположной вершине...»

«Шутишь? — угрюмо сказал бек.— Тебе шутить можно, ты отвоевал свою невесту...»

— Да, друзья мои,— заключил рассказчик,— как выяснилось потом, это друг жениха разжег на той вершине большой костер, до утра не давал ему погаснуть, чтобы хоть таким образом помочь ему выжить...



К концу рабочего дня по району пронеслась весть, что умер брат известного в районе председателя колхоза и похороны уже состоялись. Кое-кто из работников собрался и уехал в село сразу, а мы с секретарем и предриком решили поехать на соболезнование завтра с утра.

Село, в которое мы должны были поехать, расположилось в предгорье, в живописном ущелье, и имело уникальное по нынешним временам кладбище. Дело в том, что несколько столетий назад в нем жило в общем-то однородное по этническому составу население, но одна его часть поклонялась Магомету, а другая — Яхве. Хоронили тех и других на одном кладбище, и лишь невидимая черта разделяла могильные камни, записи на которых высекались на древнеарабском и иврите. А на другой стороне от кладбища, одиноко, словно высохший ствол погибшего дерева, торчал из земли камень, на котором не было ни рисунков, ни записей, будто у умер-

шего не было ни имени, ни рода. Здесь был захоронен арестованный и расстрелянный сельчанами гачаг, загубивший в свое время немало безвинных людей, имени которого теперь никто не знал. Так люди раньше наказывали преступников.

Уже у въезда в село мы спохватились, что не знаем дома умершего, и сконфузились от мысли, что дом председателя колхоза мы знаем, бывали в нем не раз, а где и как живет рядовой колхозник, даже в таком маленьком селе, нам неизвестно. Вот так, живем среди людей, с высоты своего положения разговариваем порой с ними, а не знаем их. Слепота какая-то.

Первым, кого мы встретили, был лет девяти мальчуган, который, тяжело согнувшись в одну сторону, нес домой с родника ведро с водой.

— Скажи, сынок,— обратился к нему предрика,— где дом похороненного вчера колхозника?

— Во-о-н там,— протянул руку мальчик и показал на... кладбище.

Мы застыли вдруг от навалившейся на нас великой правды бытия.





Было время обеда. Рабочие завода, оставив душные цеха, высыпали во двор, расстелили на лужайке незамысловатые «скатерти», вывалили из сумок домашние приготовления, расселись удобно, по-азиатски, поджав под себя ноги, и начали трапезу. Вчерашние колхозники, а сегодня уже рабочие первого в городке крупного промышленного предприятия, они все еще оставались детьми природы со свойственным им притяжением к зелени земли и ласковому свету солнца.

В одной из групп слышится заливистый говорок губастого молодого рассказчика и прерывистый смех остальных. Рядом греется на солнышке большая ленивая кошка.

— Вызывает к себе директор торгового ларечника, — травит чубатый, — и говорит ему: «Дошло, мол, до меня, что ты рублевые сигареты за два продаешь... Ты что, мол, не знаешь, что сейчас перестройка, демократия, гласность, да еще к нам комиссия едет, поймают — под суд пойдешь...»

«Да что ты, дорогой,— отвечает ларечник,— если я правильно дам сдачу, меня же на весь город осмеют».

Собравшиеся смеются.

«Нет, нет, настаивает директор,— продолжает рассказчик,— кто-нибудь пожалуется, беда будет. Слушай, что тебе говорят!»

— На следующее утро,— продолжает чубатый, выбрасывая в траву окурков,— к ларьку подходит покупатель и, протянув трехрублевку, просит пачку сигарет. Ларечник, не моргнув глазом, возвращает ему два рубля сдачи.

«Да что ты, дорогой,— возвращая один рубль, возмущенно говорит ему покупатель,— если я правильно возьму сдачу, на меня все будут пальцем показывать!»

— Привычка! — смеясь, замечает один из дружины чубатого, молодой узколобый парень.— Инерция...

«Нет, нет,— успокаивает покупателя ларечник,— не возьму, дорогой, сейчас перестройка, демократия, гласность! Покупатель удрученно кладет деньги в карман и отходит. Потом, вдруг спохватившись, возвращается к ларьку.— Слушай, говорит, дорогой, а где сигареты?»

«А вот сигарет нет, дорогой! — отвечает ларечник...»

Раздается взрыв смеха, от чего вскакивает и бежит даже заснувшая и согретая солнцем кошка. Заметив кошку, узколобый хватается с земли камень и бросает в нее.

— Ты чего? — удивляется чубатый. — Кошка-то при чем?

— А в прошлом году кошка утащила у нас целый кусок сушеной баранины, — возмущенно ответил узколобый...

— Может, это совсем и не та кошка, — замечает чубатый.

— А-а, — решительно махнув рукой, заключает узколобый. — Кошка есть кошка...





цена слова

Двухлетний внук, привезенный дедом за месяц до описываемых событий, привыкал к отсутствию родителей долго, и потому, проснувшись в этот день рано, капризно потянул бабушку не в спальню деда, а во двор, где утренний воздух был наполнен ароматом цветов, весело щебетали птички и яркими бутонами горели розы. Не подозревая о случившемся, малыш будто еще на некоторое время хотел оттянуть наступление роковой минуты.

В то время как бабушка привычно накрывала к завтраку стол, внук весело бегал за хитрым котом, стараясь ухватить того за пушистый хвост. Кот, видно, тоже был не прочь поиграть с малышом, то близко подпускал его, то перед самым носом увертывался и уходил прочь.

— Мунош, родненький, позови дедушку к завтраку, — громко сказала бабушка, больше стараясь быть услышанной не внуком, а мужем, который что-то сегодня непривычно

долго не покидал постели. — Вставай, скажи, деда, завтрак готов...

— Де-да! Де-да! — дважды четко и звонко выкрикнул внук, однако ответа не последовало.

— Что-то дедушка проспал сегодня, — говорила бабушка, неторопливо кормя внука только что приготовленной манной кашей. — Слушай, Диана, — обратилась она к дочери, — позови отца, потом будет ругаться, что не разбудили его...

— Папа! Иди завтракать! — позвала и младшая дочь, школьница, на ходу засовывая в портфель бутерброд с колбасой, но отец снова не отозвался.

Когда уже накормив внука и пустив его гулять жена вошла в его спальню, то ничего необычного вначале не обнаружила, если не считать несколько странной позы, в которой спал муж: тело его слегка было повернуто на бок, правой стороной лба он бодливо уперся в подушку, носком же правой ноги — в край матраца, а согнутой в локте рукой придавил под себя постель: видно, смерть настигла его неожиданно, когда он силился встать.

Все еще не осознавая случившегося, но с настороженной опаской, она дотронулась рукой до его плеча и тут же в ужасе, с криком, отдернула ее назад, отчетливо почувствовав холод лишенного жизни тела...

Весть о смерти председателя известного на всю округу пригородного колхоза «Рассвет» Хуби Хубиева облетела город с молниеносной быстротой и вызвала множество толков

и пересудов совсем не потому, что предколхоза обязан был, как говорится, жить до цветения камней. Вовсе нет, все мы смертны, и каждому суждено в свое время быть отнесенным на плечах близких и родных. Народная молва была вызвана тем, что сердечный и отзывчивый, полный сил и энергии Хуби Хубиев еще вчера был совершенно здоров и никак не собирался ночью лечь, а утром не встать со своего ложа.

Именно поэтому внезапная смерть ошеломила всех и вызвала множество догадок и предположений о ее причинах. В первую очередь естественными оказались разговоры тех, кто усомнился в «здоровости» теперь уже усопшего и на этом основании предположил, что его давно, видно, точила какая-то хворь. И хотя внешние признаки были вполне нормальными, однако, мол, внутренняя червоточина исподволь, незаметно вела хозяина к гибели.

Однако когда стало известно заключение экспертной комиссии о том, что смерть в общем-то всегда уравновешенного и спокойного на вид предколхоза наступила совсем не от болезней, а от инфаркта, тут уж предела народной фантазии не было.

Смерть закономерна. Но она всегда нежеланна, тем более, когда усопший совсем не стар и добропорядочен. Поэтому неожиданная кончина Хуби Хубиева вызвала подозрительные толки, прежде всего соседа, не преминувших заметить, что во всем повинна злобная председательша, которая поедом

ела мужа по каждому случаю и без случая, немало попортила ему нервов и крови, а накануне, видно, устроила ему очередной «разнос», отчего тот и отдал концы. Некоторые мужчины подхватили эту вполне реальную версию и на ее основе пришли к выводу, что женщинам волю давать нельзя и держать их, с..., надо в «ежовых рукавицах». Однако это предположение особой поддержки не нашло, так как более точные источники их тут же опровергли, заявив, что, во всяком случае, последние десять лет Хубиевы жили, что называется, душа в душу, трогательно растили внука и в общем-то причин для ссоры у них в семье не было.

Вот тогда, перебирая весь его вчерашний день, выяснилось, что накануне Хуби Хубиев был приглашен на заседание горкома и там его, как говорят, «допекли» за нежелание сдать кормовое зерно в госпоставку. Узнали даже о том, что покинул он это злополучное заседание бледным и издерганным, наотрез отказавшись выполнять это нелепое указание.

Нашелся и тот, кто оказался попутчиком предколхоза, когда тот после заседания направлялся домой и жаловался на бесконечные трения с руководством и невозможность работать и жить в такой обстановке. О понуrom и подавленном его настроении накануне смерти говорили потом и родственники, а жена его так прямо и заявила, что, вернувшись домой, муж в сердцах бросил на стол папку с бумагами и назвал кого-то «вредителем», а ночью долго не мог заснуть,

даже закурил, чего не делал никогда в жизни.

В назначенное время проводить усопшего в последний путь пришло много народу. Это и неудивительно: отдать долг памяти в этот час, выразить соболезнование родным и близким считает необходимым почти каждый. И после того как покойника омыли, завернули в саван, положили на специальные носилки, траурная процессия двинулась к кладбищу...

Так или иначе, преждевременная смерть доброго человека не могла пройти бесследно, не вызвав сочувствия и скорби у близких и знакомых. Больше всех сокрушался молодой комбайнер колхоза Келе, большеголовый, с выпуклыми, словно удивленно смотрящими на мир глазами, прозванный поэтому лупатым, парень, который еще неделю назад был приглашен к председателю в кабинет, где и был обрадован решением правления о премировании автомашиной «Москвич» за ударную работу на уборке хлеба.

— Сволочи! — непритворно возмущался Келе. — Довели человека!..

Он вспоминал о своей встрече с председателем, рассказывал подробности разговора с ним, будто о живом, в то же время осознавая, что того уже нет и никогда не будет.

— Дядя Бирхие! — уже неоднократно обращался Келе к своему предпенсионному бригадиру: — Что же ему такое сказали, что он не выдержал? Разве можно словом убить?..

— Э-эй, сынок, — отвечал ничуть не меньше скорбевший бригадир, уже после похорон

усевшись на специально отведенное во дворе усопшего место для намаза,— еще как можно! Да будет мир ему и спокойствие, покойный дедушка рассказывал...

— Говори, говори, Бирхиё,— обратились к нему несколько мужчин, собравшиеся, по обычаю, на вечернюю молитву,— и мы между делом послушаем...

— Коли так, слушайте.

Бирхиё погладил свою короткую, уже поседевшую бородку, с таинственной улыбкой оглядел собравшихся и начал свой рассказ:

— В одном селе жил старик-дровосек. Он только тем и занимался, что каждый день с веревкой на поясе ходил в лес, приносил вязанку хвороста, продавал на базаре и на эти деньги кормился. Однажды нес он на спине дрова и вдруг услышал какой-то шорох. Посмотрел и видит, что идет на него медведь, как сама беда.

«Как дела, дровосек?» — спрашивает медведь.

«Э-эй, что говорить? — отвечает дровосек испуганно.— Стар стал, сил уже нет, глаза почти не видят, слезятся, колени дрожат, поясница отнялась... Вот хожу за дровами, этим и живу...»

«Не бойся меня, старик,— говорит медведь,— давно вижу, не сладко тебе живется, вот и решил помочь. Пригони сюда завтра пять-шесть ослов, а я нагружу их дровами».

«Эх, брат,— отвечает старик,— откуда я достану ослов?»

«Да неужто нет у тебя соседей, разве не

делился ты в детстве с кем-нибудь хлебом да солью? Разве нет у тебя родственников? Попроси у кого-нибудь, уж, наверное, кто-нибудь пожалеет и поможет».

Пришел старик и попросил у родных осла. Дали ему одного, двух, трех, четырех, стало десять ослов. Пошел он с ними к медведю. Не прошло и половины дня, как медведь наломал леса, да нарубил дров, навязал вязанок, навьючил их на ослов и поставил погонщиком старика.

Так день за днем прошел целый год, и старик разбогател. Теперь уже ходил за дровами не с чужими ослами, а со своими. Жизнь повернулась к нему солнечной стороной, преобразился и сам дровосек: прибавилось сил, малость пополнил телом, в глазах появился этаким счастливый блеск, в движениях — уверенность.

В очередной раз, нагрузив уже двадцать ослов, дровосек обратился к медведю:

«Брат мой, что если ты придешь завтра ко мне в гости?»

«А можно?» — переспросил медведь.

«Да, конечно,— обрадовался дровосек,— буду очень рад...»

«Ладно,— ответил медведь удовлетворенно,— приходи завтра, потом вместе и пойдем».

На следующий день за трапезным столом, насытившись угощениями дровосека, как бы между прочим медведь спросил:

«Ты, друг, меня вначале испугался, но как

видишь, мы, звери, в дружбе постоянны. Не так ли?»

«О да! — ответил дровосек, раскрасневшись от выпитого. — Твои добрые дела меня к жизни вернули, я очень тебе благодарен...»

«В таком случае, я хочу тебе задать один деликатный вопрос», — сказал медведь.

«Пожалуйста, о чем речь», — ответил дровосек.

«Скажи только правду: дружба со мной тебя ничем не смущает?»

«Что ты, друг, я очень тобой доволен, — поспешно ответил дровосек, — благодаря тебе я разбогател, но, если сказать правду, малость лицо у тебя гадливое...»

— Ну и свинья неблагодарная! — вырвалось у слушавшего этот рассказ Келе.

Однако на него тут же зашикали и попросили бригадира продолжить свой рассказ. Согласно кивнув головой, тот продолжил:

— Рассердил и огорчил медведя такой ответ. Расправил он шерсть у себя на груди и говорит дровосеку:

«Принеси топор!»

И когда дровосек подошел с топором, медведь приказал:

«А теперь изо всех сил ударь топором вот сюда». И подставил свою грудь.

«Нет, друг, я не сделаю этого! — запротестовал дровосек. — Что ты от меня требуешь?!»

«Если ты не сделаешь этого, — сурово сказал медведь, — я сейчас же раздавлю тебя и ~~отдам~~ шакалам на съедение...»

— Неужели ударил? — вырвалось снова у Келе, но он тут же спохватился и виновато добавил: — Извини, дядя Бирхиё, просто невероятно...

— Ты лучше слушай и на ус наматывай, — нравоучительно заметил его сосед, изворотливый, как угорь, широколицый и толстозадый колхозный завскладом.

— На ус, которого нет, — с насмешкой добавил Шевениё, известный в городе балагур и весельчак.

Рассказчик терпеливо молчал, но все же с укоризной посмотрел на нетерпеливых слушателей и, когда те, смущенные, притихли, продолжал:

— Испугался дровосек, сжалось у него сердце. Взял он топор, закусил губу да как стукнет! Зажмурился медведь от боли, тяжело поднялся и, облизывая кровоточащую рану, пошел к себе.

Прошел год, прошел другой, ушло богатство из рук дровосека, снова дряхл и немощен он стал, и все та же веревка на поясице. И встретил вдруг опять медведя.

«Как дела, дровосек, здоров ли?»

«Здоров как будто...»

«Глаза не подводят?»

«Нет как будто...»

«В таком случае, подойди поближе и посмотри на мою грудь, нет ли на ней какого-нибудь следа? Не бойся, я не трону...»

Посмотрел дровосек и говорит:

«Никакого следа нет».

Три раза заставлял его медведь:

«Посмотри лучше».

«Никакого следа не вижу», — отвечал дровосек удивленно.

«Вот видишь, — сказал тогда ему медведь, — рана от удара твоего топора зажила, и следа не осталось, а рана от обидных слов твоих в моем сердце кровоточит по сей день...»

Так и ушел дровосек непрощенный.

Собравшиеся задумчиво молчали, определяя на весах раздумья цену слова...





Обо и **Бобо**, два старых виноградаря, жили в селении на одной махале, всего несколько домов отделяли их друг от друга. Если Обо был словоохотливым и говорливым, то Бобо был полной ему противоположностью — степенен и молчалив, первый мог соврать не моргнув и глазом, второй же даже на старости лет смущался и по-мальчишески краснел. Если Обо был скуп и жаден, то Бобо даже на последние деньги мог хорошо угостить друга. Но зато в работе Обо всегда оказывался впереди, его виноградники давали щедрые урожаи, словно он заговаривал их или колдовал над ними.

Все это и служило предметом споров, а иногда и ссор между ними, но независимо от этого они, как сабля без ножен, не могли быть друг без друга. И каждое утро, направляясь на работу в колхоз, здоровались неизменным: «Себэхтуь э хэйрбу!» — и крепко пожимали друг другу мозолистые руки.

Бывало и так, когда палящее солнце

становилось над самой головой, они, оставляя работу, направлялись к хайвану и каждый раскладывал прихваченную из дома еду. Заметив на общем столе свежий тандырный чурек и пахнувший овечий сыр щедрого друга, Обо, не торопясь освободить свой хурджин, разливался соловьем, что, мол, его старая еще с раннего утра готовила чуду из молодой крапивы, а потом неторопливо раскладывал черствый хлеб и уже ржавую тощую селедку.

...В это воскресное весеннее утро Обо проснулся с твердым намерением сделать обрезку винограда у себя во дворе, боясь холодной зимы, он расчетливо до весны оставил их в покое. Плотно позавтракав, он подозвал к себе восьмилетнего внука и наказал сходить к старому Бобо и попросить у того садовую пилу.

Бобо долго не мог взять в толк, как это Обо, старый виноградарь, не имеет дома садовой пилы, без которой не обходится ни один уважающий себя сельчанин. Потом, почувствовав во всем этом подвох, отказал в просьбе, сославшись на то, что у пилы отломилась ручка и он отдал ее в ремонт.

— Ну и скряга! — выслушав внука, возмутился Обо. — Пожалел пилу! — Потом удрученно добавил: — Делать нечего, внук, ступай в подвал и принеси нашу новую пилу...





О трогательном единстве Келебебе и Келедедей на нашей махале ходили многочисленные легенды. Никогда за всю долгую совместную жизнь никто не видел их ссоры и не слышал бранного слова в адрес друг друга. В семейном согласии растили они кучу детей, молча переносили трудности, а маленькие радости умели превращать в большие праздники.

На свадьбах и при семейных раздорах их ставили в пример, учили молодых любить и уважать друг друга, как это умели делать они.

Так уж заведено на миру — богов и кумиров творят для себя люди сами.

Но по мере того как шло время и мельничные жернова жизни перемалывали нашу нетерпеливость, перетирали семена нашей молодой безоглядности в муку опыта и терпения, авторитет их оставался бесспорным.

Однажды, когда молодая семейная пара из нашего тухума, опомнившись после очередной ссоры, которая, словно ураган, сорвала

и выбросила с розы их любви еще несколько нежных алых лепестков, они встревожились и невольно бросились к Келедедей за советом, как утопающий хватается за спасительную соломинку.

— Скажи, бабушка, — словно вскрик больного сердца, сорвалось с уст новобрачной, — как это вам удалось прожить с дедушкой долгую жизнь в мире и согласии, а мы вот, едва успев пожениться, все ссоримся?..

— Наше счастье в опасности, бабушка, — опустив голову, признался и молодой муж.

Заискрились вдруг помутневшие от времени глаза Келедедей, лукавинка жизненной мудрости залегла в уголках ее поблекших губ, показалось, будто и морщины сгладились на ее старческом челе.

— Как?.. — словно в забытьи, переспросила Келедедей.

— Да! Как? — вырвалось у молодых в отчаянии. — Откройте нам свою тайну, помогите, бабушка...

— Садитесь, дети мои, — пригласила их Келедедей и, когда те поудобнее устроились возле нее, задумчиво продолжала: — Вы, молодые, нынче, слава Богу, в достатке живете... На свадьбах кортежи машин... десять, а то и пятнадцать, любите с шиком, побольше да пошумней... А для меня было великим счастьем, когда в день нашей свадьбы он, вопреки крестьянской традиции — не тратить попусту денег, выкупил на время у барчука фэтон и прокатил меня по всему селу...

Она взлохматила вихрастый чуб молодого мужа и погладила опущенное плечо его подруги.

— Вот такими горячими и горделивыми и мы были тогда, а меня так только Гордячка и звали на селе,— продолжала Келедедей, пряча в уголках губ хитрую улыбку.— Красивая, видно, была, вот и гордилась этим... А он, будто необузданный конь, ух-х...

Она немного помолчала, вспоминая прошлое, нежно погладила притихшую молодую супругу и продолжила:

— Прижал он меня к себе, потянул поводья и помчал коня во всю прыть. И тут конь споткнулся... Рассердился мой жених, ударил его кнутом и сказал: «Раз!» Летим во всю прыть, еще крепче прижал он меня к своему горячему телу, прильнул губами к моей щеке, и тут, как на грех, опять споткнулся конь... Отхлестал он бедолагу и сказал: «Два!» А тут уже и дом близко: там ждут молодых, свадьба в разгаре, музыканты повскакивали с мест, еще громче полилась музыка, горят факелы, по-орлиному вскинув руки, танцуют родственники, раздаются возгласы: «Едут! Едут!» Мчится наш фаэтон к моему новому дому, и тут споткнулся конь снова. Жених резко остановил фаэтон, твердо посмотрел на коня и в сердцах сказал: «Три!» — выхватил револьвер и застрелил коня...

— Ой! — вырвалось у молодой супруги, доселе молчаливо слушавшей этот рассказ.

— «Милый, обратилась я к своему жениху,— продолжала Келедедей,— за что же ты убил коня?» Он твердо посмотрел мне в глаза и сказал: «Раз!» Вот после этого...— Келедедей глубоко вздохнула и добавила: — Да, вот с тех пор мы живем в мире и согласии...





КРАСНОКОЖАЯ ГРУША

Случилось это в один из осенних дней, когда на сельских дорогах от частых дождей и проезжих машин отвалами лежала грязь. Осень стояла на редкость хмурая, дождливая, словно обиженная Землей, сводила с ней счеты.

Я возвращался из колхоза уже под вечер, хотя признаки наступающей темноты едва ощущались. Дорога, извиваясь темной блестящей лентой, то исчезала, то вновь появлялась, надвое прорезая не тронутую цивилизацией чащу леса. А на обочинах, образовав сплошную завесу, сплелись дикие алыча и виноград, айва и терен, ежевика, вьюны и тутовник.

Дождь, отстучав каплями-горошинами, уже прошел, и мой «Москвич» продвигался с трудом. Вокруг все замерло — даже листья-сплетники, затаив дыхание и прекратив свой интимный шепот, чутко прислушивались к нашему говорливому мотору, буравившему хрупкую тишину. Летевший навстречу желтый листок жадно припал к мокрому ветрово-

му стеклу, словно встретил старого приятеля. Удивительно, но от этого «солнечного зайчика» в машине стало уютней, казалось, будто во всей округе это был единственный обжитой уголок.

Богатый в недавнем прошлом, колхоз в последние годы слабел, угасал, словно какая-то хворь точила его изнутри. Следы этой болезни были и у дороги: слева осталась кем-то вырубленная, очищенная от коры и потому казавшаяся истекающей кровью молодая краснокожая груша; сквозь заросли, словно ломоть ржаного хлеба, проглянуло недовспаханное поле, и тут же — оставленный под дождем разобранный трактор.

Невеселые думы, словно нудная зубная боль, не давали покоя, и я не заметил, как фары высветили впереди чью-то фигуру. Я затормозил и открыл дверцу. Это был высокий старик с длинной белой бородой и в бухарской папахе. Бешмет из черного сатина, без пояса, и длинные без манжет брюки висели на его жилистом старческом теле. Меня поразили его чистые блестящие азиатские калоши и умение старика не запачкать их в этой непролазной грязи.

Через минуту я уже знал, что старик шел в соседнее село к сыну, а работал в том же колхозе, откуда ехал и я.

— Как вы думаете, ата, — после недолгих раздумий спросил я, — в чем причина низких урожаев в вашем колхозе?

Старик хитро улыбнулся, пристально посмотрел на меня и, погладив широкую,

красивую бороду, неторопливо переспросил:

— В чем? Н-да, люди всегда причины найдут, если что-то надо объяснить. Дело не в них, сынок. Вот послушай, что я тебе расскажу.

Старик мечтательно поглядел вперед, откашлялся и начал:

— Давно это было. Жил, говорят, на землях плодородной Мугани великий шах. Всем одарила его судьба: и красотой сказочной, и хитростью Саида, славой и силой Мервана, но в одном все же обделила — не дала наследника. И каково же было счастье уже стареющего шаха, когда через много лет у него родился сын — единственный наследник. Целый месяц во всем его вилайете праздновали это событие. Двое суток беспробудно спали затем уставшие музыканты и захмелевший люд.

Но недолгой была радость шаха — оказалось, что руки и ноги мальчика были недвижимы. Со всего света созывал шах врачей, немало знахарок прошли через пороги его дворца, но вылечить наследника никто не смог.

Затужил шах, черной сажей покрыл свою одежду, лицо и руки. Великий траур объявили по всей стране. Замолкли во дворце нежные звуки зурны. Под угрозой смерти никто не смел смеяться.

«О, великий шах! — обратился к нему тогда придворный мудрец. — Позволь сказать мне несколько слов».

Не открывая глаз, усталым движением руки шах разрешил.

«Не гневайся на своего слугу, о владыка! — взмолился старец и упал на колени. — Великого наследника можно вылечить!»

Возбужденный шах вскочил с трона и бросился к старику.

«Ты растревожил мою рану, — закричал он, как раненый зверь, — но видит Аллах, я милосерден. Но как, как спасти сына?»

«Для этого нужно выполнить одно условие», — опомнившись от страха, сказал мудрец.

«Говори, я все выполняю».

Старик немного замешкался, а потом продолжил:

«Прикажи, мой шах, привести сюда трех своих подданных: визиря, наложницу и пастуха, и пусть каждый скажет свою правду».

«Что-о?» — переспросил шах.

«Правду, о владыка!» — невозмутимо ответил мудрец.

«Правду?.. Ты что, смеешься надо мной, старый осел?! Разве правдой лечат болезни?»

«Да, о шах! Правда плод родит, а не пустоцвет!»

«Эй, нукеры! — приказал шах. — Приведите визиря, наложницу и пастуха! Но знай, старик, не будет по-твоему — я прикажу... нет, я сам вырежу тебе язык и брошу собакам на съедение».

Мудрец молчал. А тем временем нукеры выполнили приказ.

«Скажи, мой верный визирь, в чем правда твоей жизни?» — спросил шах.

«Правда?» — переспросил визирь.

«Да, только правду!» — приказал шах.

«Я не могу ее сказать, о владыка!» — изменившись в лице, ответил визирь.

«Почему?» — удивился шах.

«Узнав эту правду, вы прикажете убить меня...»

«Я обещаю тебе жизнь! — выведенный из себя, вскричал шах. — Говори!»

«Все равно не могу, мой шах, — ответил визирь. — Это страшная правда».

«Я все тебе прощаю, скажи!» — приказал шах.

«Я хочу, чтобы ты и твой наследник скорее умерли, а я стал шахом — вот моя правда, о владыка!»

Не успел визирь ответить, как свершилось чудо: парализованные ноги наследника зашевелились.

«В чем же твоя правда? — спросил удивленный шах у наложницы. — Говори, не бойся, ни один волосок с твоей головы не упадет».

«Я желаю скорой смерти твоей жены, чтобы стать на ее место. Вот моя правда, о мой славный шах!»

При этих словах у наследника заработала правая рука. А вот что сказал пастух:

«Я много лет пасу твой скот на лучших пастбищах, а сам живу хуже скота. Моя правда в том, о шах, чтобы скот был на своем, а человек — на своем месте!»

После этих слов наследник был совершенно здоров. Счастливый шах, вытирая слезы радости, говорят, на весь шахский дворец крикнул:

«Люди, являйте правду, она плод родит!»

— Останови, сынок! — неожиданно сказал мой рассказчик. — Я уже доехал. Не знаю, ответил я на твой вопрос или нет, подумай...





Беглянка

В одном южном городе из кассы заготовительной конторы сбежала Сторублевка. Выползла из пачки, открыла сейф, каким-то только ей одной известным способом, и пошла гулять. Ничего особенного. Такие случаи бывали здесь и раньше, и потому отсутствия ее не заметили. Беда была в другом. Совершая побег в эту мерзкую осеннюю ночь, эта взбалмошная красотка забыла прихватить с собой зонт. Да, обыкновенный японский зонт, чтобы дождь не промочил ее изящный наряд или, не дай Бог, не помял и не затянул ее в сточную канаву.

Вначале, взяв ее в охапку на углу какого-то дома, поиграл с ней ветер, потом, когда ему надоело, он выбросил ее в соседний двор. Это был первый удар по ее самолюбию. Затем, оказавшись в большом и открытом дворе, Сторублевка съежилась от холода и спряталась под навес.

Накрапывал дождь. Перспектива искупаться в луже ее не устраивала, и она посту-

чала в светлое окно, из которого слышались плач детей и возмущенный женский голос.

— Кто там? — спросил сердитый мужской голос.

Окно открылось.

— Кого в эту слякоть привело к нам?

— Сторублевка я! — горделиво заявила избалованная неженка.

— Кто? — не понял мужчина.

— Сторублевка я! — с новым оттенком величавости проговорила гостя.

— Да как же?! — обрадовался мужчина. — Ах ты радость моя ненаглядная, заходи, дорогая, что же ты под дождем стоишь?! Подойди поближе, я подниму тебя в комнату.

— Не торопись, хозяин, — с достоинством проговорила гордячка. — Ты прежде скажи, что со мной делать будешь?

— Что я делать с тобой буду? — в задумчивости переспросил мужчина. — Если бы, милая, ты знала, как ты мне сейчас нужна! Чуешь, зима надвигается, а здесь вон семечки по лавкам бегают, им перво-наперво одежда нужна. Да и жена, стерва, все уши прожужжала, покоя не дает, то у нее того нет, то еще чего не хватает. Но наперед всего, я возьму тебя завтра с собой на базар, куплю мяса и риса, да вина четверть и досыта поедим плова, давно не ели вдоволь...

— Э-э, нет! Мне у тебя делать нечего, — сказала Сторублевка и спряталась в темноту.

— Куда ты?! — удивился мужчина, он спрыгнул с подоконника и стал искать ее

в темноте. — Куда она спряталась, дура, пропадет ведь...

Тем временем Сторублевка облюбовала рядышком новый навес, и тихо постучала в дверь.

— Кто там? — донесся из глубины недовольный сонный голос. — Кому это не спится?

— Сторублевка я! — торжественно заявила ночная гостья, ожидая новых ахов и охов.

— Ну и что, что ты сторублевка? — недовольно пробурчал хозяин. — Эка невидаль... Ну, чего тебе?

— Я хотела знать, — сбавив гонорок, заговорила кокетка, — что ты со мной делать будешь, если я зайду к тебе?

— О-ха-ха! — сказал хозяин, тяжело шурша плепанцами. — Что я с тобой делать буду, спрашиваешь? Постелю на стол шали шерстяные, подогрею утюг чуть-чуть, уложу тебя на мягкую шерстяную постель и тем утюжком нежно поглажу с обеих сторон, вычищу, высушу, а потом к сестрицам твоим, в сундук...

— Вот это меня устраивает, — развеселилась жеманница и, все еще ежась от холода, скомандовала: — Открывай дверь, коли такое дело.

Заскрипел засов, приоткрылась дверь, и комнатная лампа высветила в ночи тонкий лоскут двора. И в тот момент, когда блудница шмыгнула в дверь, в полоске света заметил ее тот, первый, что выпрыгнул во двор на ее поиски.

— Эй, куда ты? — выбросив руку вперед, вскрикнул тот возмущенно...

— Ой! Ой! — оторвав руку от стенки, проснувшись, застонал от боли сторож заготовительной конторы. — Надо же, приснится такое... Ишь, б... такая, к соседу, к заготовителю шмыгнула...

Он оглядел спящих разметавшихся детей, накинул на них сползшее одеяло, почесал волосатую грудь, лег на другой бок и безнадежно проговорил:

— Бедному человеку, видно, и во сне не везет...





Как-то под вечер на годекане селения Мюшкюр собрались мужики. Разговор начался сразу, а поводом послужил сегодняшний случай на виноградниках колхоза, о котором с каким-то благоговением рассказывал старый Бобо.

— Сделал я, значит, обрезку последнего куста в ряду, — начал он, — думаю, на сегодня хватит, к вечеру клонит... Только собрался выйти на дорогу, смотрю — прямо передо мной... змея. — Старик как-то прерывисто вздохнул, словно заново переживал все, успокоился и продолжал: — Огромная такая, метрах в двух от меня. Подняла голову, высунула острое жало и в упор смотрит на меня. Я так и замер, не шелохнусь. Волосы дыбом встали, вмиг пот прошиб всего. Ой Худо, говорю про себя, почему такая смерть? Никому вреда не делал, всю жизнь трудился, сады сажал, виноградники растил, добро дарил людям. Не-е-т, думаю, не заслужил ты, старый Бобо, такой смерти... А что делать?

Я на нее смотрю, а она качается из стороны в сторону, но глаз с меня не сводит. Так и разглядываем друг друга... Тут меня осенило, вспомнил я наставления дедов наших и тихо, мирно говорю ей: «Знаешь, змея, встретились мы случайно. Я тебе никогда плохого не делал, да и ты мне не делай. Иди своей дорогой, а я пойду своей!» И, поверьте, послушалась. Качнула как-то головой сверху вниз, будто в знак согласия, и уползла прочь...

— Да-а,— проговорил добродушный толстяк Бирор,— вам, дядя Бобо, очень повезло, послушалась змея, а вот старый Шемей, пусть земля ему будет пухом, рассказывал, что албис ни за что не уговорить, несговорчивый, дьявол, уж если повстречался с кем, непременно напакостит.

Стали вспоминать рассказы очевидцев, случаи, кому и когда встречались змеи, сатана и черти. Вспомнили, как однажды, накануне свадьбы в доме старого виноградаря, тот же сатана оказался в хлеву, набросился на привезенную для торжества корову и выпил за ночь всю ее кровь. Другой раз двенадцатилетний Рабо, сын хромого мельника, выйдя ночью по надобности во двор, повстречался с дружкой, который утром следующего дня клялся и божился, что ночью к нему не приходил. Все уверяли, что это был сатана, так как в тот же вечер умерла старая мать мельника.

И вот, когда, казалось, воспоминаниям не будет конца, в разговор вмешался сельский

балагур и весельчак Шелбет-рыбак, прозванный так за постоянную удачу на рыбалке. О его дружбе с Бирором знали на селе все, хотя характерами были они совершенно разные. Бирор любил Шелбета за веселый нрав и душевную чистоту. Шелбет же и дня не мог прожить без этого молчаливого толстяка, лучшего слушателя и помощника во всех его выдумках и веселых розыгрышах. Бирор был добр и доверчив к людям и нередко страдал из-за этого. В таких случаях Шелбета раздражала в друге такая доверчивость, и он учил его быть разборчивым.

— Скажи-ка, друг мой,— заговорил Шелбет, обращаясь к Бирору,— где, по-твоему, прячется сатана: в земле, на небе или в людях?

Застигнутый врасплох, Бирор как-то добродушно улыбнулся, развел руками и простодушно ответил:

— В земле, конечно, где же ему еще быть?!

— Конечно, в земле,— уверенно подтвердил кто-то из мужиков.— В небе не спрятаться — видно все, а о людях и говорить нечего, мы бы его сразу прибили...

— А может, и в небе,— с сомнением сказал старый Бобо.

— Нет, друзья, сатана сидит в людях! — улыбаясь, сказал Шелбет.— Он каждый день среди нас. И если его поискать, он и сейчас здесь...

— Вечно ты свои штучки выкидываешь! — добродушно улыбнулся Бирор на шутку друга.— Скажешь же, среди нас...

— Вот как? — как-то хитро улыбнулся Шелбет и, обратившись к Бирору, добавил: — Ты снова ошибаешься, мой друг, потому и без кошелька остался вчера на базаре. Ха-ха-ха,— расхохотался он и встал.

Все засмеялись, повставали с мест и медленно, не торопясь, враскачку, все еще под впечатлением услышанного, разошлись по домам.

«В земле! На небе! — ухмылялся про себя Шелбет, направляясь к речке Гюльгеричай, где в его хитроумных сетях барахтался усач.— Ладно, дружок, я дам тебе урок, правда, горький, но нужный...»

На следующий день Шелбет, отработав на виноградниках положенную норму, ушел с работы раньше обычного и быстро направился в село, к дому друга. На вопрос: «Есть здесь кто?» — ему навстречу вышла пышногрудая жена друга и с радостью пригласила его в дом.

— Знаешь, сестра,— начал Шелбет свою речь,— вчера ко мне приходило привидение, и я не могу не рассказать тебе о нашем разговоре. Вот уже пятнадцать лет у вас с моим другом Бирором нет детей. Так это?

— Да, верно,— ответила женщина с удивлением.

— Так вот,— продолжал Шелбет дальше,— привидению стало известно, что у Бирора на горле, ниже подбородка, большая, величиной в абаси, родинка. И оно сказала мне, что если ты, жена Бирора, ровно в полночь, когда муж твой будет спать, возьмешь бритву

и срежешь с этой родинки волосинки, ровно через год у вас родится ребенок.

— Неужели? — засомневалась женщина, зная о проделках Шелбета.

— Попробуй! — твердо сказал Шелбет. — Ведь это ничего не стоит...

— Хорошо... — сказала женщина тихо. — Я сделаю.

Вскоре Шелбет встретил на краю села возвращавшегося с работы друга. Он подошел к Бирору с опущенной головой, как человек, который должен сообщить какую-то неприятную весть.

— Ты что такой грустный? — спросил Бирор удивленно. — На тебя это непохоже.

— Знаешь, Бирор, — ответил Шелбет озабоченно, — я должен известить тебя о большой неприятности. Когда на друга надвигается беда, могу я быть в стороне?

— Ничего не понимаю! Какая беда? — снова ничего не понял Бирор.

— Мне стало известно, — невозмутимо продолжал Шелбет, — что сегодня в полночь, когда ты будешь спать, твоя жена... перережет тебе горло.

— О чем ты говоришь? — с удивлением и тревогой спросил Бирор. — За что она хочет меня убить?

— Она считает, что детей у вас нет только по твоей вине, ей это надоело, и она решила от тебя избавиться.

— Не может быть! — воскликнул Бирор, сильно побледнев.

— Стал бы я тебе врать, — говорил Шелбет

убежденно, — если бы не был уверен. Да это можно проверить: ты сделай вид, что ни о чем не знаешь, спокойно ложись спать. Когда же она приблизится к тебе с бритвой, тут же схвати ее за руку. А меня в качестве свидетеля заранее проводи в свою комнату и спрячь.

На том и порешили.

В полночь женщина украдкой поднялась с постели, вытащила из-под подушки бритву и осторожно подкралась к мужу, чтобы осуществить задуманное. И в тот момент, когда к родинке спящего мужа оставалось только протянуть руку, Бирор молниеносно схватил жену за руку, в которой блестело лезвие бритвы.

— Ах ты ведьма! — непривычно вскричал Бирор, вырвал из ее рук бритву. — Я тебе покажу, как убивать мужа! — И повалил жену на пол.

Вот тогда и вышел из укрытия Шелбет. Он усадил по обе стороны от себя мужа и жену, попросил у нее извинения и подробно рассказал им о споре на годекане и обо всем остальном.

— Ну, скажи теперь, где прячется сатана? — улыбаясь, спросил Шелбет Бирора. — В людях или в земле?

Тот как-то нервно улыбнулся, облегченно вздохнул и добродушно ответил:

— Вечно ты свои штучки выкидываешь!..



Однажды в полночь, накинув на свое костлявое тело серые лохмотья, расчесав шакалью шерсть на голове, Смерть взяла в руки синюю косу, надела черные очки от косоглазия и вышла в город. Повесив косу на плечо, она хихикнула от предвкушения, потерла костлявые руки и воровато оглянулась...

Где-то рядом, в доме с настежь открытым окном, горела яркая лампа, отчего кругом было празднично светло. Внутри весело играла музыка, кто-то, по-орлиному вскинув руки, танцевал, слышались радостные голоса, смех. «Вот ты мне и нужен, голубчик! Посмотрим, что ты сейчас запоешь?!» — злорадно подумала Смерть, крадучись, подошла к окну, спряталась в тень и громко постучала.

— Эй, кто там? — откликнулся подвыпивший хозяин. — Заходи, дорогой, гостем будешь! Чего в окно стучать, у нас дверь есть, заходи!

После недолгого молчания в окно снова постучали.

— Слушай, кто это? — удивился хозяин и выглянул в окно. — Кто ты, дорогой... — снова спросил он и осекся.

Бледной синевой отблескивала острая коса.

— Смерть я! — тихо хихикая, сказала серое чудище. — Пришла за тобой...

Она хотела застать его врасплох, ждала просьб и унижений, а он, вдруг протрезвев, как джигит, гордо и весело ответил:

— Ну и что, что ты Смерть? Пришла? Заходи, не стесняйся. Чужих нет, все свои: сыновья и дочери, внуки и внучки мои. Трудом своим живем, и потому радость у нас неподдельная, душевная. Что еще человеку надобно?! Вот и все, надолго не задержу, пять минут, попрощаюсь с детьми — и бери, коли так надо!

От неожиданности Смерть опешила, не любила она, когда ей прямо смотрели в глаза, терялось чувство радости от своего ремесла, ощущения всевластия. Ей доставляло подлинное наслаждение, когда ее умоляли и унижались, в страхе теряли человеческое достоинство. Потому она снова спряталась в тень и попятилась к соседнему домику, из окна которого тускло просвечивал свет.

На стук в окно долго никто не отвечал. Впервые Смерть стала нервничать и кусать синие губы. Наконец, щелкнул засов, открылась ставня и за стеклом показалась мужская голова.

— Кто там? — разглядывая темноту,

спросил мужчина.— Темень какая, а не спится кому-то...

— Это я,— голосом родственника ответила смерть.— Открой окно...

Мужчина недоверчиво еще раз сквозь стекло поглядел в темноту, задумался ненадолго и открыл окно.

— Кто ты? — спросил он снова и замер в ужасе.

Заметив неподдельный страх в его глазах, смерть зацепила косой его за шею, потянула чуть-чуть и тихо, с наслаждением хихикнула.

— Я за тобой, милый,— злорадствовала она,— не ждал?.. Хи-хи-хи...

— Нет, нет, не делай этого,— вдруг лихорадочно заговорил смертник, упал на колени и стал целовать ее зловонные костлявые ноги.— Умоляю тебя, Смертушка, не делай этого. Я всю жизнь... слышишь, всю жизнь страдал, не знал радости, поедом ел жену и детей, во всем им отказывал, лишнюю копейку не тратил, берег, лишил себя даже маленьких радостей, никого не приглашал, и сам в гости не ходил, не кутил, не транжирил, друзей не имел, все копил, копил, думал: вот теперь заживу.

Смерть поправила очки, хихикнула от наслаждения и чуть потянула к себе косу.

— Ой, ой, ой! — плача заголосил мужчина.— Не убивай! Умоляю! Я жить хочу, я только сейчас начал жить... Босиком по миру пойду, поститься буду, только бы жить... У меня, ой, совсем забыл, много денег, целое

богатство. Слышишь? Возьми сколько хочешь, все возьми, только оставь...

Смерть в злорадной усмешке скривила тонкие губы.

— Взятка? — хихикнула она и еще больше посинела от злости.— Привык, видно? Не-ет! Мне взятки ни к чему.

В ночной темноте сверкнула синяя коса и звякнула об оконную раму. Смерть обтерла косу о свои лоскуты, проверила ее острие на палец и не спеша поплелась со двора.

— Эй, старая, куда ты? — звал ее вдогонку джигит.— Я же жду!

— Ну тебя, живи пока! — ослабевшим голосом сказала Смерть и добавила: — Я свое уже сделала...





Мне рассказывал ее дед, ему — его дед, и сколько раз в нашем роду от деда к внуку передавалась эта сказка, не знаю, но говорят, что когда-то, давным-давно, в далекой Персии жил Великий шах, о неслыханном богатстве которого ходили легенды.

Маленького роста, щедедушный, но умный и хитрый шах не жалел средств, чтобы слава о его богатстве и могуществе проникла во все уголки земли, и его визири и векили усердствовали в этом один больше другого.

Предмет болезненного самолюбия шаха — вопрос о его богатстве, ловко поддерживаемый не менее хитроумными векиль-визирями и, в сущности, давно уже решенный, никогда не забывался, а тем более не оспаривался на шахских сборищах и торжествах. И потому случай, который произошел во дворце Великого шаха, был дерзким и неслыханным, хотя имел трагическое начало и...

Не станем забегать вперед.

Однажды за трапезой пресыщенный и гор-

деливый шах, поглядывая на своих верных помощников, разомлевших от принятых яств и облокотившихся на мягкие подушки, каким-то едва заметным знаком остановил и выпроводил очаровательных танцовщиц, и назидательным тоном заговорил:

— Мир велик, дети мои, и одному Аллаху ведомо все, что делается кругом. Вот я и думаю, сомнения точат мой мозг, не дают покоя: может быть, есть такая земля, куда не ступали мои доблестные полководцы и не шагали караваны моих купцов, на которой живет другой падишах — богаче меня! Как вы думаете?..

— О Великий шах! — заголосили выведенные из состояния покоя, умудренные жизненным опытом подчиненные шаха. — О чем вы говорите? О несметных богатствах ваших слагают песни поэты и поют ашуги, нет такой земли, где на устах райята не было бы вашего великого имени...

— А может быть, и есть такой падишах, кто его знает, — вдруг задумчиво проговорил главный визирь и осекся...

— Да-а? — переспросил уязвленный шах, взглянув на главного визиря сначала с удивлением, а затем с ненавистью. В глазах шаха сверкнул такой дикий блеск, отчего главного визиря вдруг пробрал холодный озноб, будто черная смерть тенью стала у его изголовья, и он понял всю безысходность своего положения. — Вот как? У тебя возникли сомнения? — чеканя каждое слово, на грани бешенства выговаривал шах. — Я...

повелитель великой державы! Мои полководцы не знают поражения! В моих руках... полмира! В моих сундуках несметные богатства, я — Великий шах!!! И ты, ничтожный червь, смеешь в этом сомневаться?! — Шах вдруг успокоился, исчез дикий блеск в его свирепых глазах и на лице его явилась хитрая улыбка, та хитро-хищная улыбка, которая появлялась у него, когда он принимал злое решение.— Ну что ж, сорок дней тебе сроку: найдешь и назовешь мне имя человека, который богаче меня, и будешь жить, а нет — голову сниму! Ступай!

Оставим Великого шаха в его дворце, пусть он продолжает так неудачно прерванную трапезу и веселье, а мы пойдем за несчастным визирем, чья жизнь и смерть теперь только в руках Аллаха. Поруганный и побитый, словно пес цепной, он мертвенно побледнел и с поникшей головой поплелся в свои хоромы.

Не стану рассказывать о том, какие горькие слезы и вопли вызвало у домочадцев сообщение визиря, скажу лишь только то, что, дав кое-какие поручения сыновьям своим, удрученный визирь выбрал себе лучшего коня и на рассвете отправился в путь.

Много стран и городов объездил визирь, пересекал моря, преодолевал горные вершины, скакал по ущельям и долинам, видел богатые и дивные дворцы, прекрасные сады и цветники, в шелка и золото убранные царские троны, но даже при имени Великого шаха эти государи — одни с трепетным

почтением, другие с уважением — вскакивали со своих мест и низко кланялись визирю. «Богаче Великого шаха? — с удивлением переспрашивали они и тут же отвечали: — Нет! Таких не знаем!»

Долго и упорно расспрашивал визирь вездесущих дервишей, всезнающих купцов, хитроумных предсказателей, великих мудрецов и странствующих ученых, но никто не успокоил трепетную душу визиря, не исцелил его страждущее сердце радостным сообщением.

Сороковая ночь застала его в нескольких километрах от шахского дворца, на вершине горы, куда уставший конь привел своего поникшего хозяина. Он был похож на узника, которому завтра отрубят голову, на беглеца, понявшего всю безнадежность своего положения и отдававшего себя в руки безжалостного правосудия. Ничто уже не радовало визиря, ни вот эта лунная ночь, ни сверкающие звезды, которые с высоты кажутся близкими и еще более яркими, ни умиротворенность природы, ни травка зеленая под копытами уставшего коня, ни хрупкая ночная тишина с лаем пастушеских собак, ни красота чабанского костра. Все, и мир с его красками, с блаженством, которому еще совсем недавно, казалось, не будет конца, исчезнет все, завтра — смерть...

— Эй, путник! — вдруг услышал визирь совсем рядом звонкий голос. — Ты так устал, что спишь прямо в седле, так и беды не миновать...

Визирь поднял голову и в свете яркого костра увидел высокого, двухметрового роста чабана, с висящим кинжалом на поясе, в широкой бурке, папахе,— недюжинного богатыря с длинной пастушеской палкой в руках.

— Не торопись, путник,— снова заговорил чабан, подходя к визирю ближе.— Не проходи мимо моего костра, слезь с коня, сядь рядом, раздели со мной скромный ужин, отдохни, а завтра продолжишь свой путь...

— Нет, спасибо, чабан,— отвечал несчастный визирь, на миг остановив коня.— Зачем думать о завтра человеку, для которого этого завтра уже нет...

— Видно, беда с тобой приключилась,— сочувственно проговорил чабан,— но не отчаивайся, Аллах поможет. Не торопись, отдохни со мной, поделись горем своим, может, чем и помочь можно...

— Э-э, нет,— горько усмехнулся визирь,— ты моему горю не помощник...

Долго уговаривал чабан этого странного ночного пришельца, то горько усмехавшегося от какой-то своей затаенной думки, то вдруг безнадежно и безысходно умолкавшего, но все же уговорил...

Горел чабанский костер, на ореховых шампурах жарился шашлык, на вывернутой высохшей бараньей шкурке лежали кусочки сыра, луковицы и чурек.

— Вот, садись сюда.— Чабан помог визирю помыть руки и усадил его рядом с собой.— Отведай моего ужина, отдохни и, если

захочешь, отведи душу, Расскажи о своей беде...

И так, коротая ночь у этой скатерти из овечьей шкуры, визирь за все время беседы, хотя и был голоден, съел кусочек сыра с чуреком и рассказал чабану, кто он и чем увенчались его поиски. Он рассказывал чабану о райских уголках земли, о диковинных деревьях, на которых растет хлеб, о говорящих птицах, о вещих колдунах, о заманчивых предложениях некоторых царей жениться на их дочерях и остаться в этих далеких странах...

Узнав, что этот ночной пришелец — главный визирь Великого шаха, один из мудрейших людей Великой державы, чабан с подострастием не вскочил с места, не стал бить челом визирю, перед которым трепетали целые народы, а с еще большим почтением стал ухаживать за своим пока еще великим гостем. Чабан был гордый человек.

— Так и не нашел я человека богаче нашего Великого шаха! — закончил свой рассказ, опустив голову, визирь.

— Богаче нашего Великого шаха? — переспросил чабан и тут же громко захохотал: — Ха-ха-ха...

Следом ночную тишину прорезало далекое эхо: «А-а-а...» Залаяли и умолкли чабанские собаки.

— Если только в этом твоя беда, то беришь, поспи под моей буркой, — став серьезнее, заговорил чабан, — а утром я назову человека, который богаче Великого шаха.

— Ты?..— изумился визирь.

— Да, не волнуйся, я знаю человека богаче Великого шаха.

— Да о чем ты говоришь, безумец,— разволновался визирь,— все эти огромные стада, которые ты пасешь, великолепные пастбища, и ты, и тот пастушок, что виден там, в долине, и эти горные вершины — все это принадлежит Великому шаху. Как ты можешь знать более богатого человека?

— Ложись, поспи,— постелив визирю бурку, уверенно сказал чабан,— утром я пойду с тобой к Великому шаху и назову имя этого человека.

— У меня сердце разрывается,— взмолился визирь, приподнявшись и сев на предложенную ему бурку.— Не томи, чабан, и не мучай. Речь идет о моей жизни и смерти, о благополучии моей семьи, о будущем моих детей. Назови мне имя этого человека!

— Э-э, какой ты нетерпеливый! — недовольно пробурчал чабан,— терпение — лекарство от всех болезней, видно, его тебе не хватило с самого начала. Я же сказал, пойду с тобой к Великому шаху и там назову. Да тебе, во всяком случае, больше ничего не угрожает... Великий шах, если я не окажусь прав, велит казнить не тебя, а меня... так что спи, и я отдохну малость...

Визирь снова улегся на бурку, прилег и чабан. Но не спится визирю, беспокойно на душе, сомнения мучают его. «Как? Я объездил весь мир, видел великих царей и могущественные государства, а этот чабан дальше

этих вершин нигде не был. Нет, не может он знать... просто успокаивает меня...»

— Эй, чабан! — окликнул визирь, садясь у костра. — Ты не спишь?

Но чабан, что-то пробурчав во сне, поворачивается на другой бок. Спит чабан, спит уставший за день человек.

Визирь подбрасывает в костер хворосту, накидывает на плечи бурку и снова задумывается. «Спит спокойно, — думает он, поглядывая на чабана. — А ведь если не докажет, что есть человек богаче шаха, в самом деле могут казнить, могут... а я спасен... так ли? Не подумает ли шах, что я, спасая свою жизнь, уговорил этого несчастного стать жертвой вместо меня? Может и так быть... Но ведь не сумасшедший же этот сорокалетний богатырь, вполне нормальный человек, и умирать, как видно, он не собирается... Ничего не понимаю...»

Визирь от отчаяния ухватился за голову. Его взбунтовавшийся мозг искал выхода, как волк, попавший в капкан.

— Эй, чабан! — невольно вырвалось у него снова.

Чабан встрепенулся и повернулся к визирю.

— Ради Аллаха, не мучай, назови этого человека, иначе не могу уснуть, — взмолился визирь.

— Эк-кий... ты, однако, — пробурчал чабан недовольно, — спи... — И снова повернулся на другой бок.

Трудно себе представить, что пережил в эту

ночь визирь, какие перенес муки, сколько передумал дум. Лишь поседевшие за ночь виски могли поведать об этом.

Чуть задремавшего от усталости, так и оставшегося сидеть у потухшего костра визиря разбудил утром чабан.

— Ну, визирь, вставай, позавтракаем — и в город, к Великому шаху...

— А-а,— встрепенулся визирь и, сообразив в чем дело, вскочил на ноги.— Чего время терять, чабан, там позавтракаем...

— Нет, чабану так нельзя,— уверенно ответил чабан.— Завтрак наш не ахти какой, много времени не займет.

Наскоро перекусив, чабан аккуратно собрал остатки еды в торбу, завернул в овечью шкуру и повесил на сук. Затем, заложив два пальца в рот, пронзительно свистнул, отчего собаки подняли лай. Через несколько минут к чабану подбежал лет восьми пастушок.

— Я пойду, сынок, в город, смотри за отарой,— тоном, не терпящим возражения, сказал пастушку чабан.— Скоро вернусь.

Мальчик согласно кивнул головой.

...Уже через час они подъехали к шахскому дворцу. Поручив лошадей нукерам, визирь повел чабана к Великому шаху...

Весть о возвращении главного визиря облетела дворец с быстротой молнии, со всех концов к приемной шаха стекались его подручные, одни со злорадством, другие с сочувствием ждавшие развязки. Никто не знал, какую весть принес с собой этот некогда

могущественный человек, и потому каждый встречный кланялся ему по пояс.

— Доложите Великому шаху о моем возвращении,— спокойным голосом заявил шахским слугам главный визирь.

Через несколько минут всех пригласили к шаху.

— Ну? С какой вестью вернулся? — пронзив взглядом главного визиря, спросил шах.— Нашел ты человека богаче меня?

— Я объездил весь мир, о Великий шах,— поклонившись по пояс, ответил визирь.— Пересекал моря, преодолевал горные вершины, быстроногие скакуны носили меня по ущельям и долинам, я видел богатые и дивные дворцы, радующие глаз фруктовые сады, я долго и терпеливо расспрашивал вездесущих дервишей, всезнающих купцов, хитроумных предсказателей, великих мудрецов и странствующих ученых, я беседовал с царями великих стран, которые трепетали от одного только вашего имени, но... нигде не нашел человека богаче вас, о Великий шах!

Довольный шах, погладив свои маленькие черные усы, злорадно улыбнулся. В огромной приемной шаха прошло брожение. Противники визиря обменивались многозначительными взглядами, полными злорадства и самодовольства, кто-то прыснул от смеха, кто-то, закрыв глаза, задумался.

— Но вчера, о Великий шах, подъезжая к городу,— не меняя тона, продолжал визирь,— в нескольких верстах отсюда, на вершине горы, я случайно встретился с этим

чабаном.— Визирь знаком подозвал к себе стройного богатыря, который, подойдя к визирю, сделал шаху низкий поклон.— Видит Аллах, я не вру, он заявил мне, что знает человека богаче вас.

Удивленный шах чуть привстал с места. В рядах собравшихся раздались возмущенные голоса, неприкрытый смех и появились улыбки на лицах.

— Как? — вскочил маленький шах со своего трона и, обратившись к чабану, спросил: — Ты знаешь человека богаче меня?

— Да, мой Великий шах! — твердо ответил чабан.

— Ты, чабан, который вместе с овцами, что ты пасешь, с землей, на которой пасешь, принадлежишь мне, ты знаешь человека богаче меня? Ха-ха-ха,— разразился хохотом шах.— Кто же этот человек?

— Я,— ответил чабан.

Громко, на весь шахский дворец, раздался смех собравшихся. И сквозь этот шум прозвучал голос чабана:

— Стойте! Ничего смешного я не сказал, мой Великий шах. Я слышал, что вы мудрый падишах?! Если это так, если ваша мудрость выше человеческих страстей и необузданных действий, выслушайте меня и исполните одно мое маленькое желание.

Шах сел на свое место. Не скрывая своего удивления, еще раз взглянул на этого сказочного богатыря, одетого в чабанскую бурку, и тихо молвил:

— Говорите, чабан, я слушаю...

— Пригласите сюда вашего портного, мой Великий шах,— попросил чабан.— Вот мое желание.

Через минуту всемогущие нукеры шаха привели испуганного, ничего не понимающего портного.

— Скажи, портной,— заявил чабан,— если случится, что Аллах призовет нашего Великого шаха, все мы смертны перед Аллахом, сколько потребуется ситца, чтобы сшить ему саван?

Портной сильно побледнел, затем испуганно взглянул на шаха и, заметив его утвердительный кивок, пролепетал:

— Ме... метра четыре!

— А для меня сколько потребуется на саван?

Портной смерил взглядом этого двухметрового богатыря и самодовольно ответил:

— О-о, метров двенадцать, не меньше!

— Вот видите, мой Великий шах! Это все, что принадлежит нам в итоге, это и есть наше с вами богатство, во имя чего люди убивают друг друга! Так кто же из нас богаче, я или вы, мой Великий шах?..





— **Ч**то самое сладкое на свете? — спросил однажды дед, собрав вокруг весь свой тухум.

Задумались сыновья и внуки старика. Нельзя торопиться с ответом, не одобряет старость поспешность молодости. «Торопливая речка до моря не добежит», — гласит народная мудрость.

— Самое сладкое — это сон, дедушка! — сказал один из внуков, пристально взглянув на деда.

Тот молчал.

— Слаще жизни ничего нет! — убежденно заговорил младший сын. — Мне кажется, я ответил правильно, отец?

— Нет, сын, это только часть правды, — ответил старик и добавил: — Бывает и смерть слаще жизни...

— А я знаю, что самое сладкое, — торжественно и весело заявил семилетний внук. — Самое сладкое дедушка, это... халва.

Ответ мальчика вызвал улыбки и смех.

— Извини, отец, — сказал старший сын, —

но коли возник вопрос, то должен быть и ответ. Я думаю, что слаще всего жен...

— Не надо продолжать,— остановил его старик.— То, что ты хотел назвать, тоже не все правда... Сладостная истома любви — великая сила, на ней жизнь держится, но...

— Власть! Есть ли что ее слаще? — воскликнул средний сын старика и восторженно продолжал: — Быть властелином целого мира, ощущать величие свое, сладость силы и могущества своего — это великая сладость!

Но, заметив, что слова его никого не убедили, умолк.

— Наверное,— начал старший внук,— точнее всех на вопрос деда отвечу я. Жизнь, как известно, диалектична и познание истины коренится в борьбе противоположностей. Вот почему для того, чтобы ответить на вопрос, что самое сладкое на свете, надо знать, что является антиподом сладости. И потому я думаю, что самое сладкое — это горечь, ибо, не познав горечи, не узнаешь и сладости.

— Ну ты загнул! — заговорили разом братья и дяди.— По этому принципу можно считать, что голод гораздо слаще, нежели сытость...

Собравшиеся снова засмеялись.

— Дети мои, успокойтесь,— заговорил дед.— Каждый из вас был по-своему прав, отвечая на мой вопрос. Конечно, сладка и жизнь, и сон, и власть, и прочее... Но самое

сладкое на свете, дети мои,— торжественно продолжал старик, будто открывая великую тайну бытия,— это то необдуманное, незаслуженно обидное слово, которое ты хотел сказать другому и не сказал... Когда пройдет время, лишь тогда вы ощутите на языке великую сладость этого невысказанного слова...





Жила в нашем селе красивая и дородная вдовушка. Не баловала эту женщину жизнь своими радостями, давно уже не одаривала минутами счастья, а наоборот, как могла, вредила — раньше срока лишила мужа дорогого, а теперь и на дитя ее, сынишку малого, болезнь напустила.

Сохнет мальчик день ото дня, догорает, как свеча восковая.

Умоляет и просит Бога вдовушка спасти дитя ненаглядное, радость очей ее, от хвори пакостной, от сглазу вредного, не дать безвременно закрыться глазкам дорогим.

И где бы она ни бывала: на людях или без них, взволнованно и покорно, как Матерь Божья, закинув очи вверх, молитвенно обращалась она к Всевышнему:

— О, всемогущий и всевидящий! Исцели сынишку моего, все его хвори и болезни тяжкие перенеси на меня. Убей меня, Господи, а сыну дай жить!

И эта молитва ее громогласная вызывала в

людях участие и сочувствие: какая-то бабка трав принесла лекарственных, что пошло, говорят, на пользу малому, кто-то врача известного на дом пригласил без затрат для вдовушки.

Так и шло время.

Домик ее стоял на краю села и был из двух комнат. В дальней комнате на тахте лежал больной мальчишка, в передней коротала свое время убитая горем вдова. Во дворе, в хлеву, привязан был ослик, послушное и доброе животное, помощник вдовы в хозяйских делах.

И утром ранним, и в вечерних молитвах своих умоляюще просила вдова исцеление сыну, хотя бы ценой собственной жизни.

Однажды ветреной темной ночью, когда, как обычно, вдова спала в передней, ослик освободился от привязи и ненароком толкнул головой в хозяйскую дверь.

Дверь с треском раскрылась, и в ее проеме вскочившая от шума вдова вдруг в ужасе увидела светящиеся глаза и огромную страшную голову. В темноте ночи ей показалось, что это ангел смерти Азраил пришел за ее душой, что минуты ее сочтены, и она, в молитве став на колени, вскрикнула:

— Нет! Нет! Больной не здесь! Он в соседней комнате!..





Асфальтовая лента дороги перерезала виноградники совхоза на две неравные части: малую — предгорную, ибо разместилась она у подножья Кавказских гор, и большую — приморскую, поскольку приблизилась почти к самому берегу буйного Каспия. «Предгорные» виноградники закреплены за одной бригадой, а «приморские» — за тремя.

Чтобы быть ближе ко всем бригадам, поскольку телефонной связи между ними нет, по заданию руководства совхоза местные умельцы выстроили у самой дороги красивую, подобную китайской пагоде, беседку и покрасили ее в белый цвет. Здесь в конце рабочего дня планируют задания на следующий день или «чистят» нерадивого работника. Совхозные острословы тут же прозвали беседку Белым Домом.

Сегодня в Белом Доме шумно. Главный агроном совхоза, большеголовый, широколицый богатырь, совсем не упырь-злодей, каким кажется на первый взгляд, а добрый и милый

человек, собрал начальников отделений, агрономов и бригадиров, чтобы подвести итоги осенне-зимних работ и выставить напоказ к делу небрежных. В частности, бригадира предгорной бригады — худощавого, как таркал, лопоухого увальня. Зовут его Локатор, и он охотно на этот зов откликается, привык. За оттопыренные уши приклеилось к нему это прозвище еще со школьных времен, и вот уже более трех десятков лет сопровождает его повсюду.

Однажды случился курьез: ревизор поднял целую бучу, обнаружив в ведомости на выплату премии «мертвую душу» — в списке работников совхоза в отделе кадров документов человека по фамилии Локатор не оказалось, а он получил большую сумму. Смеялись долго — бухгалтер бригады при составлении ведомости по привычке вместо фамилии бригадира написал: «Локатор», а тот преспокойно расписался.

— Скажи, Локатор, — спросил его главный агроном, — в чем дело, уже весна стучится, а у тебя до сих пор не завершена обрезка кустов?

— Опоздал малость, наверстаем, — хлопая глазами, отвечает Локатор.

— Когда? — насеждает главный. — Скоро сокодвижение начнется, а у тебя четверть площадей нетронутой стоит.

— Няляжем всей бригадой, — снова парирует бригадир.

— Ты и в прошлом году вот так же обещал, а плана не выполнил, — вмешивается началь-

ник отделения совхоза, в подчинении которого бригада Локатора.

Тот молчит.

— Смотри, выгонят тебя рабочие из бригады,— замечает главный агроном,— подведешь...

— Нет, не подведу, все сделаю, обещаю,— снова заверяет Локатор.

И тут случилось удивительное: главный агроном, выслушав перепалку с Локатором, сотрясаясь всем своим огромным телом, стал смеяться, захлеб, до слез.

— Вы чего? — хлопая удивленно глазами, спросил Локатор.— Чего смеетесь-то?

Это развеселило уже всех присутствующих.

— Я вспом...— отдышавшись от смеха, заговорил главный агроном.— Ты знаешь, Локатор, я вспомнил одну историю... Однажды волку пообещали, что его со следующего дня назначат пастухом большой овечьей отары. Услышав эту весть, волк стал плакать. Ему говорят, что это ты, мол, плачешь, наоборот, радуйся, что счастье тебе привалило, теперь, мол, в твоём распоряжении будут сотни баранов, только успевай: дави и ешь, не жизнь, как говорится, а малина, кайфуй...

— Я тоже так думаю,— согласился Локатор.

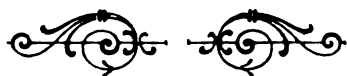
— Вот-вот...— продолжает главный.— Волк же отвечает: «Я знаю, что мне будет хорошо, даже очень прекрасно, прямо как в раю, но одного я боюсь...»

«Чего?» — спрашивают волка.

«Что это обещание будет обманом...» — отвечает он.

Главный агроном ненадолго умолк и с каким-то тайным смыслом добавил:

— Вот и я этого боюсь, бригадир. Лучше горькая правда, чем ласковый обман...





Мудрость приходит с годами, она — опыт прошлого: пройденного, прочувствованного и передуманного. У молодости, как и у всякого начала, всего этого еще нет, поэтому она спешит, торопится изведать неизведанное, пройти намеченное, ей незачем оглядываться, у нее там, позади, ничего нет. А у старости, наоборот, все или почти все позади, есть над чем подумать, поразмыслить, сделать выводы из опыта прошлого, ибо дорога подошла к концу, даже не столько дорога, а время — каждому, как говорится, отведен свой век.

Молодость и старость — родник жизни, как одно целое, как продолжение начала, и если бы старость не имела надежды на идущую ей вслед молодость, а последняя безумно отвергала бы опыт и мудрость старости, иссяк бы родник жизни, мир потерял бы стремление к действию.

Мудрость — еще и умение отобрать главное из всего многообразия мироощущений, найти ту грань алмаза, которая особенно ярко

отражает свет: это — редкое сито, которое, просеивая, не потеряет в шелухе ни одно полезное зерно. И если это умение приходит к человеку не в конце пути, а где-то хотя бы в середине его, то родник преобразается, пульс его становится наполненным и стремительным, как у бегуна, когда он преодолевает критическую точку и путь к победе кажется ему легко преодолимым.

Мой сосед, седеющий толстяк, учитель астрономии, говорил обо всем этом с сожалением и грустью, как человек, который в суете жизни упустил что-то очень важное, словно золотых дел мастер среди лома не увидел и не оценил металл драгоценный...

— Представь себе, мой друг, — рассказывал он откровенно, — при жизни мы как-то не замечали в отце ничего особенного: отец как отец, заботливый — да, трудолюбивый — да, малость вспыльчивый, когда дело касалось подлости — тоже да, и как будто все... А он еще много лет назад преподнес нам такой урок, глубину мудрости которого мы постигли лишь сегодня.

Он вдруг оживился, в глазах его появился радостный блеск, словно он — астроном, разгадавший, наконец, тайну далекой звезды.

— Однажды в воскресенье меня разбудил крик недовольства матери, — продолжал он, таинственно улыбаясь, — которая сердито выговаривала отцу: «Ты что, слепой? Ну как ты мог купить этот чемодан... он же весь изодранный, совершенно ненужная вещь... за него не только платить, этот хлам и домой

принести равносильно позору... Деньги выбросил на ветер... Нет, ты окончательно белены объелся...» Когда, умывшись и одевшись, я зашел в сарай и увидел покупку отца, я ахнул от изумления, потому что это был не чемодан и даже не подобие чемодана, а так, обклеенный дерматиновыми лоскутами ящик.

Отец был кровельщиком, хлеб добывался нелегко, и такая «покупка» отца была нами воспринята как одна из его причуд. На очередные упреки матери он махнул рукой и вконец выведенный из себя произнес: «Знаешь что, это не твоего ума дело...»

Шло время, и страсти вокруг чемодана сменились шутками. Теперь уже история эта подавалась нами в компании родственников и друзей для потехи, как десерт после вкусного обеда. Отец не сердился, а лишь еще больше щурился, глядя на рассказчика, как дегустатор на очередной бокал...

Вскоре об этом курьезном происшествии забыли. Однако я его забыть не смог. Не укладывалось в моем сознании, что отец — человек труда, в поте лица добывавший свой кусок хлеба, мог так легко выбросить деньги. Я верил, что за «причудой» кроется какая-то тайна, щепетильный случай, о котором отец вспоминать не хотел. И я не ошибся...

Сосед мой потянулся за пачкой сигарет на столе, с волнением достал одну, помял ее в пальцах, прикурил и глубоко затянулся.

— Да, я не ошибся,— повторил он уверенно.— Послушай дальше, тебе будет интересно... Но прежде о другом... Я много думал вот

о чем... В царской России самыми высокооплачиваемыми были знаешь какие профессии? Врача, учителя и юриста... А у нас, у нас их труд самый дешевый. И что имеем в результате? Во врачевании мы потеряли главное — милосердие, в воспитании и обучении — нравственное начало, в юриспруденции — справедливость. Без этих трех китов человеческое общество жить не может, оно «болеет», наше общество... Так вот, в суматохе, в этой «бесконечной битве» мы потеряли еще одно ценное качество нашего старшего поколения — благородство. Сегодня это редкость, дефицит, скажу прямо — роскошь; найти благородного человека — то же самое, что отыскать звезду в закрытом тучами небе... А говорю я об этом вот почему. Однажды мы остались с отцом наедине, и я напомнил ему о том злополучном чемодане... О-о, что было, что было... Он поведал мне историю, которая привела меня в такую растерянность, что я по сей день стыжусь и покрываюсь краской от воспоминания о ней... Отец, как правило, поднимался на рассвете и уже к 4 часам утра шел в чайхану. Там, как тебе известно, подают не только ароматный чай, но и все последние новости, даже те, о которых не знают еще ни милиция, ни спящие горожане. И вот на пути к чайхане он встретил на улице своего фронтового друга, о котором было известно, что он вот уже шестой месяц болеет и редко покидает постель. Расспросив того о житье-бытье, он узнал, что больной находится в крайней нужде, что семье его прямо худо

и за неимением более стоящей вещи он несет на базар этот чемодан, авось хотя бы за пару рублей кто-то купит.

«Вот так, взять и дать ему денег я не решился,— рассказывал отец,— этим я его мог унижить, а я не хотел ему причинять еще и душевную боль... Вот я и решил с ним поторговаться... Я стал его убеждать, что он ошибается, что чемодан его стоит гораздо дороже, стал говорить о его достоинствах: о ручке, пряжках, замках и прочем, что отдавать его за 2 рубля — это расточительство, и предложил ему 15 рублей...»

Он отдал своему другу 15 рублей — с великим трудом заработанных денег, отдал, чтобы, не унизив, не оскорбив, поддержать его в трудную минуту, а чемодан... чемодан принес домой и выбросил в сарай...

Вот и вся история, мой друг. Я же в раздумье с тех пор: мы, новое поколение, идущее вслед за отцами нашими, не растеряли ли в пути то, что так бережно несли они?..



Кислое Молоко



Одни утверждают, что тетушка Ханум жила в Ширване, даже называют улицу, где она проживала, другие клянутся светом Божьим, что она нигде не жила, кроме как в Баку, ничуть не меньше, а мои патриотичные горожане, готовые биться за истину с кем угодно и на любом уровне, твердо считают, что тетушка Ханум конечно же коренная жительница Дербента и при этом говорят о таких подробностях из ее жизни, что им может не поверить лишь неверующий.

Худó лишил ее почему-то детородства, но зато во сто крат увеличил ее любовь к детям, а те, в свою очередь, души не чаяли в ней: послевоенные, страждущие, голодные, безродные и даже имеющие родителей тянулись к ней, как замерзший тянется к теплу. Вся голытьба городская, и малые и большие, столовались у нее, будто приходили в собственный дом. При этом ребята не только не встречали отчуждения, наоборот, находили бесконечное сострадание и внимание. Нуж-

дающихся тетушка Ханум чувствовала нутром, узнавала по глазам или по только ей одной известным приметам и непременно приходила на помощь. По существу, все в ее доме отдавалось им.

Тетушка Ханум — дородная, крупная, можно сказать, пышная женщина средних лет, была, вопреки ее полноте, очень подвижной и решительной. На единственном городском рынке, которым она руководила уже много лет, хитроумные торговцы боялись ее как огня и ублажали всячески. При этом, заметив угодливое выражение лица ублажателя, она язвительно говорила:

— У-у, бесстыжая морда, так и норовишь у ног распластаться...

Так в ней и уживались презрение и высокомерие к рыночным дельцам, порой даже жестокость к некоторым из них, и трепетная любовь к сиротам и страждущим детям, для которых она находила и открывала свои тайники нежности и заботы.

Студент Садык, племянник тетушки Ханум, родители которого лет десять назад были репрессированы как «враги народа», у нее теперь находил материнскую заботу. Однажды парень застал тетку бледной, лежащей скорчившись на диване. Периодические отрывки, видно, дали о себе знать, вызвав острые боли, и бедная женщина, схватившись за живот, тихо стонала.

— Тетушка, что с вами? — встревожился племянник.

— Ничего, ничего, не беспокойся, — успо-

каивающе, но все еще постанывая, отвечала тетушка Ханум, — садись, отравилась, наверное...

— Так я сейчас за доктором сбегаю, — с готовностью говорил племянник. — А где дядя?

— Доктора не надо, — отвечала больная, — дядя побежал за кислым молоком.

Как раз в этот момент в комнату вбежал муж тетушки Ханум с банкой кислого молока. Он торопливо схватил со стола ложку и кинулся к ней.

— Ай, муж, — сказала тетушка Ханум, — дай тарелку...

— Зачем? — не понял муж, — ешь прямо из банки, вот ложка...

Женщина отвела руку мужа и решительно сказала...

— Садыку отлей немного, ему полезно...





Старик Шомоил, мой давний знакомый, — высокий, малость сутулый, большеголовый, с грубыми крупными чертами лица, на котором жизнь оставила и борозды морщин, и рубцы шрамов — следы кинжальных и пулевых ран, с большими кистями рук, которые при необходимости готовы превратиться в огромные кулаки. Он каждое утро, неторопливо отгоняя на пастбище единственную корову и десяток овец, проходит мимо моего дома и искренне приветствует:

— Себехьтуь э хэйр бу, хэлефме! Чуть хэбери? — И, выслушав ответ, так же неторопливо идет дальше.

На этот раз он шел как-то очень трудно, словно был под тяжелой ношей, лучше сказать даже, не шел, а волочил и без сапог тяжелые, мосластые ноги.

— Как жизнь, отец? — ответив на приветствие, спросил я его. — Что-то запоздал сегодня...

— Устал, сынок, — опершись на большую

суковатую палку, доверительно ответил старик.— Давно пора на покой, а вот...— Большим корявым пальцем он показал в сторону сердца: — Все нейметя, стучит и стучит...

Маленькое стадо старика тоже остановилось. Овцы стали тереться друг о друга, а корова, отгоняя хвостом назойливую муху, обнаружила невесть каким образом выросший у дома зеленый куст и стала щипать его.

— У нас, в Мюшкюре, один пришлый построил мельницу, а утром следующего дня его, утопшего, нашли на берегу Гюльгеричая. В народе говорили тогда, что «водяной подать взял»...— продолжал старик с лукавинкой.— Это я к твоему вопросу все... Мертвого-то, как водится, предали земле, а вот как мельницу остановить — никто не знает: льется вода сверху, крутит колеса, а там, в свою очередь, вовсю работают жернова... Один было полез с палкой, так его так шарахнуло, что думали, всё, погиб парень... Ну тут его родственники рассердились, полезли с кинжалами, стреляют в колеса из пистолетов, а мельница грохочет жерновами, и все... Нашли старую пушку с самопалом, три ядра, килограммов по десять каждый, как бухнули — крышу снесло, от колес щепки полетели, думали, всё, остановится неумная, так нет же, вся израненная, кинжалами да пулями побитая, ядрами пробитая, работает, шельма, и все тут...

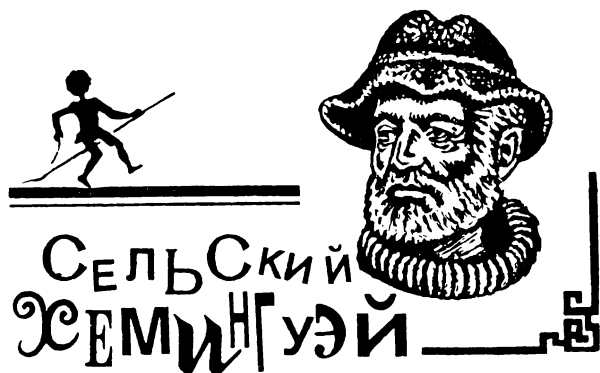
Старик тихо кашлянул, выпрямился, креп-

че сжал свой суковатый посох и добавил:

— Вот и я, старая кляча, как та давняя мельница, весь побитый да израненный, а вот не остановиться никак, не остановиться... Будь здоров, сынок!

Старик пошел дальше навстречу новому дню, который и сегодня будет бить и стрелять в его мельницу...





О Келебебе-богбоне можно говорить не уставая. Келебебе — это значит отец или дедушка, а богбоном его назвали за то, что в нашем селе он слыл лучшим садовником и только у него в саду росли редкие деревья, вкусными плодами от которых он не раз угощал и нас. Как-то купил я в магазине портрет Хемингуэя и повесил на стену. Наша бабушка долго разглядывала его, а потом задумчиво говорит: «Послушай, внук! Видно, Келебебе-богбон был, действительно, большим человеком, если его портреты в магазинах продают». Это поразительное сходство сбило с толку не одну нашу бабушку, но и многих наших соседей, которые, не разобравшись вначале, в один миг раскупили в магазине все портреты. Умудренный жизнью добрый взгляд с портрета был точно как у Келебебе-богбона.

Жил он в соседнем дворе, и мы, мальчишки, почти каждый вечер бегали к нему слушать овосуне или притчу, которые он умел

мастерски рассказывать. Зачастую, забывшись, он настолько вживался в мир своих сказок, что возмущался несправедливостью падишахов или тяжело переживал беду своего полюбившего героя. Сидя на тахте и поджав под себя ноги, он сажал одного из нас на одно колено, второго — на другое, остальных рассаживал вокруг себя, поглаживал свою седую бородку и после недолгого молчания начинал...

* * *

В Ардебиле, древнейшем городе Ирана, жил падишах. Это был город изумляющей красоты, окруженный райскими садами, в которых распевали свои неумолкающие песни влюбленные соловьи. А из его хавузов утоляли жажду многочисленные путники, ибо здесь, через этот город, проходили главные караванные дороги, в сказочный мир богатейших стран юга. В караван-сараях славного Ардебилля останавливались на отдых купцы, которые держали путь в Экбатан, Хорезм и Индию, и, возвращаясь, считали своим долгом отвесить ему поклон. Сюда заходили путешественники и странствующие дервиши, здесь находили приют поэты и ашуги.

Так вот, жил в этом городе падишах, с сердцем мягким и нежным, душой мечтательной. Ни одного купца или путешественника не оставлял он без приглашения, устраивал в их честь пиры, подарками одаривал каждо-

го, а потом терпеливо расспрашивал о жите-
бытье в других вилайетах, об интересном
и захватывающем, о чудесах и диковинках,
что видели и слышали они в дальних странах.

И однажды купцы иранские, которые
возвращались с северной стороны, рассказали
ему о невероятном городе, что повстречался
им на пути.

— О, солнцеликий падишах! Да будет
жизнь твоя сладостна и долговечна! — обра-
тился к нему один из купцов. — Город этот,
словно одноглавый дев, улегся поперек боль-
шого караванного пути головой на вершине,
а хвостом в море. Дворцы его прекрасны,
земли плодородны, а воды пользительны. Но,
великий падишах, дело совсем не в этом...

— Так в чем же? — нетерпеливо вскрик-
нул падишах.

— Дело в том, великий падишах, — про-
должал купец неторопливо, — что в нем нет...
дураков.

— Нет дураков? Одни мудрецы? Ха-ха-
ха! — расхохотался падишах, а потом, успо-
коившись, недоверчиво переспросил: — А
как же дворцы... без дураков? Кто же... прав-
ду скажет?! Это что же, никого не проведешь,
не обманешь? Не-е-т! — не поверил пади-
шах. — Что-то вы здесь напутали. Государи
без дураков не могут!

— Великий падишах! Воля ваша, верить
нам или нет, — с достоинством заговорил
снова купец, — но мы говорим правду. Люду
всякого там немало, говорят на разных
языках, но живут дружно, без ссор. И потому

врагам недоступен этот город. Мы же, если на то будет воля Аллаха, скоро снова поведем свои караваны в те края, если великий падишах пожелает, пошлите с нами своего человека, пусть посмотрит...

Скоро ли то было или не скоро, но однажды доложили падишаху, что купцы иранские, которые на север держат путь, всемиростиво просят его величество их принять. Понял падишах, кто были те купцы, и вышел им навстречу в одежде дервиша.

— Не удивляйтесь, купцы дорогие,— улыбаясь, сказал падишах,— заскучало мое сердце в этих стенах, на волю просится. Вот и решил я не посылать никого, а сам пойти в тот город...

Долго ли шли они, коротко, о том неведомо, но рассказывали, что по берегу моря Хазарского шли они на север, преодолевая реки бурные, через долины мяшкюра цветущего, по подножию Великих гор. Шли медленно, не торопясь, ночью под светом нежной и чистой луны, а днем прячась от палящего солнца под кронами могучих дубов.

К городу тому подошли на рассвете. Ворота были закрыты, за ними слышался могучий храп стражи. Где-то вдалеке торжественно заголосил петух, потом слух уловил заунывную мелодию, прочел молитву муэдзин, открылись ворота...

«Как же я здесь распознаю жителей? — вдруг подумал падишах-дервиш и задумчиво остановился. — Как отличить умного от дурака? Иногда падишахи делают такие дурости,

что у райятов только желваки трясутся, а попробуй хоть один из них даже заикнуться об этом. Вот тебе и отличи... Ладно, не буду ломать голову,— решил падишах,— заговорю с первым встречным, а там видно будет...»

И первым, кого встретил падишах-дервиш, войдя в ворота, был мальчик лет семи или восьми. Сидя верхом на длинной палке из инжира, он весело погонял своего послушного скакуна, хлестая его хворостинкой по бокам.

— Мальчик! — сказал падишах-дервиш, остановив его. — Здравствуй, сынок!

— Здравствуй, дядя! — запыхавшись от бега, ответил мальчик.

— Знаешь, сынок, я впервые в этом городе и никого здесь не знаю,— заговорил дервиш. — Что-то у меня горько во рту, вот тебе абаси, купи мне что-нибудь сладкое. Я тебя здесь подожду.

Мальчик внимательно посмотрел на странника, услужливо взял монету, повернул своего скакуна и весело куда-то помчался. Он не стал искать лавки уста-халвачи, не поскакал к тем мастерам, которые делают вкусный щербет, а направил своего иноходца прямо на базар, в лавку мясника. Подав ему монету, он попросил мясника дать ему того мяса, которое висело на последнем гвозде. Приняв сверток, мальчик устремился к месту свидания и отдал дервишу ношу.

Не взглянув даже на то, что ему принесли, дервиш поблагодарил мальчика и обратился к нему с новой просьбой:

— Извини, сынок, со мной что-то приклю-

чилось. Теперь во рту у меня приторно-сладко, прямо невыносимо. Вот тебе еще абаси, купи мне что-нибудь горькое.

Мальчик слегка улыбнулся и, забрав монету, стремглав бросился снова в мясную лавку. Попросив у озадаченного хозяина лавки того же мяса, не задумываясь, вернулся к страннику.

Тот раскрыл первый сверток, потом второй — и удивился!

— Сынок! — озадаченно сказал падишах. — В первый раз я просил тебя купить что-нибудь сладкое, второй раз — горькое, а ты и в том и в другом случае принес... язык?

— Ах, дядя! — ответил мальчик сочувственно. — Самое сладкое и самое горькое и есть у вас в руках! Разве вы этого не знаете?.. До свидания, — сказал он через секунду, повернул своего деревянного скакуна и помчался прочь, оставив в задумчивости великого падишаха Ардебиля.

«Да-а! — подумал падишах. — Если в этом городе даже такие мальцы — мудрецы, что говорить о других?!»

* * *

Сказка осталась, а Келебебе-богбона давно уже нет в живых. И каждый раз, когда я вспоминаю его доброе имя, жалею, почему тогда не расспросил его подробнее о городе того мальчугана с деревянным скакуном, и ловлю себя на мысли, что уж больно похож он на мой древний Дербент...



СЕКРЕТ ГОДОВЕТИЯ

Кому первому пришла мысль об организации этой встречи — никто не решился сказать, но, будто сговорившись, все в один голос утверждали, что предложение это, конечно, исходило от дедушки Келебебе. Так это было или не так, но в последний день весны под огромным тутовым деревом во дворе мудрого Келебебе собрался весь его тухум.

Намечали эту встречу еще год назад — разбежались сыновья и внуки старика по белу свету, пораскинула их судьба в разные края, города и села великой страны нашей, и немало трудов стоило кунчоли — младшему сыну Келебебе, тоже отцу большого семейства — собрать всех сегодня под это старое, как и сам хозяин, немало повидавшее на своем веку могучее дерево. Приехали все, за исключением либо тех, кто занят на службе, либо тех, у кого произошло какое-нибудь чрезвычайное событие.

Семеро сыновей и одна дочь Келебебе принесли ему сорок семь внуков и внучек,

а одиннадцать из них, в свою очередь, произвели его в прадедушки. Не было среди них ни одного, кто бы не почувствовал ласку и внимание Келебебе, кого бы не знал старик в лицо и чье-либо имя забыл. Всех держал в памяти мудрый Келебебе и не преминул спросить о чем-то, только ему известном, каждого, кто подходил приветствовать его в этот солнечный майский день.

Расстелены на земле красочные ковры табасаранских мастериц, разложены на них маленькие мягкие подушки для сиденья, здесь же убранный тахта, на которой восседает основоположник рода — Келебебе. Рядышком расставлены столы, на которых, блестя, красуются четверти с сухими винами собственного производства, много сортов зелени, свежее испеченный тандырный чурек, зажаренный на сковороде свежий усап и с блестящей жирной спинкой уже высушенный мартовский кутум. Чувствуются запахи ароматного плова и шашлыков — сыновья и внуки старика, весело переговариваясь, священнодействуют, готовят в углу двора.

Встреча родственников — одна кровинушка, как говорится, все свои, словно ветви и побеги могучего ствола.

— А-а, вот и мой Мунош приехал, улыбаясь, приветствовал Келебебе одного из младших сыновей. — Здравствуй, здравствуй! Ну-ка, садись, душа моя, рассказывай, как твоя диссертация, защитился? Что говорят ученые, можно с виноградной чумой, то бишь с филоксерой воевать?

— Да, отец, твои методы приняты наукой,— утвердительно кивает головой внук.

— Ну, ну, мои, скажешь тоже, они, душа моя, столько же и твои, десять лет бригадирствовал, ночами не спал...— Потом, довольный, старик добавил: — Молодец, своего добился, я рад за тебя... Ну, а ты, Содуг, душа моя, почему изменил земле, на завод пошел работать? — пожимая руку другому внуку, с иронией обратился Келебебе к голубоглазому юноше.— Я здесь его расхваливал, а он...

— Не сердись, дедушка,— обнимая старика, отвечал Содуг,— и на заводах работать нужно, сам же учил: главное — дело свое делать по-человечески... А земле, кстати, я не изменял, рядышком с домом развел маленький палисадник, так что, дедушка, зелень едим свою...

— И здесь экономит, душа моя, узнаю внука...— пошутил старик.

Шутка деда вызвала смех.

— Здравствуй, дедушка, рад тебя видеть бодрым и здоровым! — как-то неестественно торжественно приветствовал старика Мугдоши, словоохотливый внук Келебебе, а потом представил ему своего товарища: — Вот, познакомься, дедушка, со мной приехал друг, он журналист...

Старик пожал руку гостю.

— Газеты пишешь, значит, душа моя,— весело уточнил Келебебе.— Как нынче, верят тому, что пишут?..

— По-всякому бывает,— уклончиво ответил гость и, воспользовавшись возможностью

поговорить со стариком, неожиданно спросил: — Скажите, пожалуйста, дедушка, сколько вам лет?

— Тебе, душа моя, наверное, мои сыновья и внуки столько наговорили обо мне, что ты возомнил, что, мол, Келебебе стар и мудр, спрошу-ка его о чем-нибудь, не так ли? — хитро, вопросом на вопрос, ответил старик.

— Да я и сам вижу, что не так прост дедушка Келебебе, как кажется на первый взгляд, — весело ответил гость.

Собравшиеся вокруг старика родственники согласно закивали.

— Задавший вопрос ждет ответа, не так ли, душа моя? — улыбнулся старик.

— Да, дедушка, не из праздного любопытства спрашиваю, — отвечал молодой гость.

— Вот как? — задумался хозяин дома. — А как мне тебе ответить?.. Говорят, когда одного гостя повели на старое кладбище, он был весьма удивлен тем, что на могильных камнях значились короткие надписи об усопших, мол, такой-то прожил 3 года, 5 лет, 2 года и т. д.

«Что это, детское кладбище?» — спросил тогда обескураженный гость.

«Нет, — ответили ему, — здесь похоронены люди разных возрастов: и молодые, и старые...»

«Как же тогда понимать эти надписи?» — ничего не понял гость.

И ему пояснили, что каждая цифра на этих могильных камнях означает тот срок, который человек счастливо прожил за свой век.

Так вот, душа моя, одни считают, что человеку столько лет, сколько он прожил в удовольствии. Другие же, есть и такие, ведут счет своей жизни со дня ухода на пенсию. Они пришли к убеждению, что правильно жил лишь тот, кто к шестидесяти годам сохранил здоровье: не надрывался, не усердствовал, не нервничал... Вот так, душа моя...

Старик прервал рассказ, погладил бороду в раздумье и, обратившись к гостю, неожиданно предложил:

— Тебя, душа моя, я приглашаю вместе посчитать, сколько же мне лет... Вон, рядом с тобой, сидит мой первенец... Много он нам хлопот доставил, пока рос: часто болел, плохо спал, от его крика в соседнем дворе не спали, а нам и подавно было не до сна... Потом драчуном стал, часто с шишками приходил, потом... а-а, что рассказывать, ему скоро шестьдесят будет, и всю жизнь за него у меня сердце болит... За ним, вон, второй стоит. Правдоискателем был и остался навсегда, а честному, правдивому человеку, душа моя, не сладко живется... Били его много, с должностей гнали, травили, как могли... Вот и за него все его 58 лет сердце стонет, прибавь к первым 60 вторые 58... Третьему моему недавно 56 исполнилось, нефтяником в Тюмени работает, а там холода, трудности, так что вестей от него жду с нетерпением, сердце готово вырваться и полететь к нему, когда он долго не пишет, весь издегаешься, а он, поганец, забывает об этом...

— Прости, отец, виноват...— признался «обвиненный».

— Молчи и на ус наматывай,— многозначительно отвечал ему старик,— знаю, что и твой пострел подолгу домой не пишет, весь в тебя... Так вот, душа моя, будем считать дальше. Четвертому моему 50, пятому — 48, а между третьим и четвертым родилась и дочь моя, Шекер. За каждого из них ежедневно, ежечасно у меня душа болит. Тревожусь я обо всех внуках, не могу оставаться равнодушным по сей день к судьбе правнуков, близких и родных своих. Сосчитал, сколько годков набирается? Так вот, душа моя, до тех пор, пока мое сердце болит за близких мне людей, пока я не равнодушен к их судьбам, столько я и живу...





Произошло это еще до войны, в Мюшкюре, большом разноязычном селении на берегу Гюльгеричая — красавицы-реки, которая берет свое начало в горах древнего Орага, стремительно, словно бегущая на зов жениха невеста, несется по кручам Кавказа, легко увлекая за собой гладкобокие голыши, устилая ими свое русло на равнине, и, найдя, наконец, своего возлюбленного, бросается в объятия могучего Каспия.

Здесь, в устье реки, рядом с лесным массивом, на нанесенной ею плодородной илистой почве образовались тогда зеленые луга с сочным травостоем, кое-где островками — плантации камышовых зарослей, да чистые, будто родниковые, малые разливы, куда заплывали весной жирные блестящие кутумы и усахи с розовыми хвостами и плавниками и где метали икру, а затем, одухотворенные содеянным, теряли чувство опасности, становились сонливо-ленивыми и оттого были легкой добычей для обрадованных рыбаков.

Здесь, подальше от людских глаз, назначали встречи влюбленные, здесь укрывались на зиму уставшие и отставшие от стаи перелетные птицы, сюда же, на обильно поросшие травой луга, отправляли сельчане своих лошадей на ночную пастьбу.

Однако картина эта будет неполной, если не упомянуть еще об Авдале, живом придатке этих мест, двадцатилетнем увальне — трудолюбивом и молчаливом добряке, который почти круглый год пас здесь свою, такую же, как сам, неторопливую лошадку, рыбачил и тут же на костре, в старом закопченном, неведь каким образом приобретенном им причудливом медном казанке варил себе уху, приправляя ее пахучим сельдереем, мятой, диким луком и редким анисом, кои произрастали здесь обильно и почти повсюду.

Работал Авдал объездчиком в лесничестве и нес свою службу исправно: без надобности никого не обижал, но и самовольных рубок не позволял, а вот одинокой беспомощной старушке какой, бывало, сам привозил и молчаливо забрасывал во двор подобранный в лесу валежник, при этом на похвалу не отвечал, а неловко добродушно улыбался и тут же уезжал.

На ночлег в свою саклю он заглядывал, можно сказать, лишь в зимние дни, в другое же время спал Авдал прямо на лугу, под открытым небом, подложив под себя выдавшую виды шубу из овчины, а под голову — сумку с неприхотливой едой. Тут же рядом паслась и его лошадка.

Жители села относились к Авдалу с лукавинкой, как к человеку с причудами, мол, что с него взять — чужак, и все тут. Порой были не прочь и подшутить над ним. Его незлобивость, немногословие и простодушие некоторыми его сверстниками принимались за тугодумие и даже за глупость. И это вызывало у них желание посмеяться над ним, а иной раз чуточку и унижить. Однако Авдал оставался к этим нехитрым выходкам товарищей безразличным, лишь добродушно улыбался и не обращал на них внимания. Вот таким он был, это дитя природы. Хотя справедливости ради следует сказать, что старшим импонировали его трудолюбие и доброта, и они зачастую ставили Авдала в пример своим оболтусам.

Однажды, когда Авдал спал на лугу, устав после трудного дня, один из его сверстников, молодой колхозник Писер, которому поручено было пасти в эту ночь колхозных коней, решил в очередной раз над ним подшутить. Он спрятал лошадку Авдала в камышах, стреножил ее, а потом принялся его будить: мол, что же ты, соня, спишь, когда твоего «вездехода» украли...

Когда же, наконец, шутнику удалось расшевелить спящего Авдала и сообщить ему о пропаже, тот полуоткрыл глаза и спросонья ответил:

— Может, это к добру.— Повернулся на бок и снова заснул.

Покуражившись недолго, заснул затем и «злоумышленник». А утром стало известно, что ночью и в самом деле украли всех лоша-

дей, кроме... лошадки Авдала, которая была упрятана в камышах незадачливым товарищем...

К полудню того же дня лошадей нашли в сорока верстах по берегу, в соседнем заповеднике... и не без помощи того же Авдала, кинувшегося на своем «вездеходе» по каким-то только им замеченным следам вдогонку непрошеным ночным пришельцам...

— Как ты мог,— с укоризной говорил удрученному Писеру отец, старый колхозник, уважаемый на селе человек,— в одну ночь и столько всего... напакостить? Разбудить усталого после работы человека, нарочно спрятать его лошадь, чтобы он потом нервничал, а значит, причинить вред, совершить зло... Мало всего этого, оставить на произвол судьбы колхозных лошадей и спокойно лечь спать... Да кто же ты после всего этого? — все больше распалялся старик.

— Я же пошутить хотел,— сгорая от стыда, оправдывался Писер,— я не хотел, отец...

— Не хотел!..— возмутился старик.— Запомни, сын, подлое, злое деяние, совершенное нами, нас самих не минет никогда! Оно, как бумеранг, брошенный в другого... возвращается и ранит нас самих...— И заметив, что сын и сам осуждает себя за содеянное, успокоился и уже с назиданием продолжил: — Вот послушай, я расскажу тебе об этом... Несколько веков назад, недалеко от Дербента, у самого края Джалганской горы, располагалось се-

ление Або-Собо. Жила в нем измученная горем, несчастная мать семерых сирот, уходившая с рассветом в город, чтобы выпросить у сердобольных граждан хлеб насущный и накормить голодных детей. Выпрашивая кусок чурека или лепешки сухой, она благодарно причитала:

«Дай вам Худó! Все, что сделаете, вам же и вернется!»

Не минула нищенка и семью городского богача. Положив в суму протянутый богатый хозяйский хлеб, нищенка и ей неизменно повторяла:

«Дай вам Худó! Все, что сделаете, вам же и вернется...»

Не нравились эти причитания хозяйке богатого дома, они вызывали в ней бурю негодования, а порой даже дикой злобы. «Ишь, ведьма,— говорила она про себя,— мало того, что я ей хлеб даю, она мне такого же «хлеба» и желает...»

И обозленная богачка решила нищенку извести.

— Убить? — удивленно спросил Писер.

— Да, сын,— не сразу ответил старик, выбитый неожиданным вопросом из колеи своего рассказа.— Слушай дальше... К следующему приходу нищенки хозяйка приготовилась заранее, испекла чурек и положила в него яд... Выпеченный чурек на удивление оказался красивым и аппетитным. И когда нищенка вновь пришла за подающим, возмущенная хозяйка, услышав снова ненавистные ей причитания, уже не раздумывая взяла

с подноса приготовленный ею свежее испеченный чурек, от которого исходил вкусный запах сарыбугды, и положила той в руки...

— Это же надо, — возмутился Писер, — убить бедную несчастную женщину...

— Не перебивай, сын, — недовольно заметил старик, — умеи выслушать до конца... Так вот, в то время как нищенка пошла просить подаяние дальше, с охоты в город возвращались два молодых всадника. Оба красивые, статные, богато одетые, в полном охотничьем снаряжении, чуточку удрученные неудачной охотой, они гнали своих уставших лошадей, намереваясь еще засветло попасть домой.

«Скажу тебе честно, — признался первый охотник второму, — есть хочу, прямо сил нет...»

«Потерпи малость, скоро будем дома», — успокоил друга второй.

«Стыдно признаться, — сказал первый, — попадись сейчас нищий с сумой, я даже у него попросил бы кусок хлеба...»

«Возьми себя в руки, — стал стыдить друга второй, — вот уже крепость видна, до дома рукой подать...»

И надо же такому случиться, как раз в этот момент им повстречалась та самая нищенка, которая, согнувшись под тяжестью своей сумы, возвращалась в село.

«А вот и моя спасительница, — весело воскликнул молодой всадник и поехал навстречу нищенке, — у нее я и попрошу кусок хлеба...»

«Уймись ты, дуралей, — беззлобно заметил

другой,— неужто у нищей хлеба попросишь?»

«Да, честное слово, есть хочу,— ответил он другу и весело, как избалованное дитя, обратился к нищенке:— Тетушка, вы не могли бы дать мне немного хлеба?»

Нищенка остановилась и удивленно спросила:

«Вы меня?»

«Да, тетушка...»

Нищенка посмотрела на богато одетых молодых людей, на дорогое убранство их коней и, подумав, что не подобает давать таким людям куски разного хлеба, протянула молодому человеку свежеиспеченный аппетитный чурек.

«На, сынок, ешь на здоровье...»

Всадник поблагодарил женщину, удивился было, что и в нищенскую суму попадают порой такие вкусные караваи, и, разломив чурек на две части, протянул другу одну половину:

«На, поешь, и ты, небось, голоден...»

«Нет,— отказался второй,— я потерплю...»

Первый еще раз полюбовался чуреком, поднес кусок к носу, вдохнул чудный запах горной пшеницы, аппетитно откусил... и замертво упал с лошади...

— Умер? — ошеломленный услышанным, спросил Писер.

— Да, сын,— ответил старик,— и знаешь кто оказалась его матерью? Та самая богатая хозяйка, пожелавшая отравленным чуреком убить непонятую ею нищенку...



Смерть Адильшаха

Было ли так или не было, но Келебебе рассказывал, что в давние времена был один город, а в том городе жил некий шах, которого по традиции отцов и дедов называли Адильшахом, что значит «справедливый». От отца к сыну, а от него другим потомкам по наследству передавался шахский престол и не обрывалась эта цепь многие годы, пока однажды...

— О шахзаде! — обратился однажды визирь к сыну Адильшаха. — Вас зовет к себе падишах, больной желает сказать вам что-то очень важное...

Когда семнадцатилетний шахзаде оказался у изголовья отца, всем остальным было приказано покинуть их. На шахском ложе, словно свеча, догорал великий падишах.

— Сын мой, я умираю!.. — чуть слышно, но внятно произнес падишах, устремив усталый взгляд на шахзаде. — Тебе быть Адильшахом...

— Да что вы, отец! — воскликнул сын

в отчаянии.— Вот-вот придут лучшие лекари Индии и Китая, они вас вылечат...

— Не перебивай...— тяжело продолжал падишах.— Слушай, сын мой, я открою тебе тайну нашего рода... Моя болезнь неизлечима, она не во мне, а в... нас, в моем правлении...

Он сделал попытку протянуть руку к стакану с водой, но силы покинули его, и рука тяжело упала на подушку. Шахзаде, заметив это движение, приподнял ему голову и дал воды. Отпив глоток и отдышавшись, падишах продолжил:

— Нас, Адильшахов, называют справедливыми... и мы, падишахи, живем до тех пор, пока умеем держать в узде страсти своих сардаров и вельмож, пока в государстве нашем царит справедливость...— Устало закрыв глаза, падишах умолк, чтобы, собравшись с силами, снова продолжить свою исповедь:— Вот уже семь поколений нашего рода не могут дожить до старости. Как только в шахстве верх берут ложь и несправедливость, когда под видимым благополучием подданных скрывается гнет и деспотизм сардаров, над нами нависает рок справедливости и мы, падишахи, гибнем...— Он нервно глотнул, испуганно отвел безумный взгляд от какой-то точки над головой и, собрав последние усилия, продолжил:— Ты молод, сын мой, у тебя и наследника нет, и потому род наш в опасности... Помни о справедливости...— Падишах замер, неестественно вытянулся, запрокинул голову вверх и умер...

Во всех уголках вилайета своего побывал

молодой Адильшах, на дорогах ли городов или шумных базарах, в кишлаках или на полях ражберов — всюду, где встречал падишах своих подданных, расспрашивал их о житье-бытье и жестоко карал тех, кто был несправедлив к мирянину. Долго и упорно боролся Адильшах за торжество справедливости в своем царстве, по каждому сигналу с мест посылал своих приближенных с требованием без жалости наказывать сардаров, которые вместо праведных и справедливых дел, наоборот, сами чинили бесправие кругом... Зол и немилосерден был к ним Адильшах, без жалости заточал в тюрьмы, а некоторых сардаров и вельмож отправлял даже на плаху...

Велеречиво, на все лады уверяли Адильшаха сардары и приближенные, что во всем его великом вилайете воцарились мир и спокойствие, что никто никого не обижает, что мирно пасут стада чабаны, спокоен на поле ражбер, шествуют по странам купцы, процветает в городах ремесло, доброжелательны и великодушны на местах его сардары.

И горе было тому, кто пытался уверить падишаха в обратном...

Лишь однажды, когда Адильшах в сопровождении свиты приближенных вышел на очередную прогулку по красочному и шумному базару своей дивной столицы, ему дорогу преградил... смелый человек.

— О великий падишах! — обратился к нему этот смельчак. — На вашем челе я вижу следы тяжелой болезни!

В свите Адильшаха началось замешательство, кто-то выхватил саблю и подстегнул вперед коня, чтобы изрубить этого дерзкого райята, но падишах, подняв руку, остановил взбесившихся вельмож.

— Кто ты и откуда, сын мой? — доброжелательно спросил он скромно одетого смельчака. — И как ты осмелился остановить моего коня?

— Я лекарь, мой падишах, и кому, как не мне, знать людские недуги...

Адильшах спешил с коня, жестом приказал нукерам расположить под кроной огромного тутовника его кресло с балдахином.

— Подойди ближе, сын мой, — устало усевшись в кресло, сказал падишах лекарю и продолжал: — Мои приближенные уверяют, что я совершенно здоров...

— Самим провидением мне дано знать вашу тайну, мой падишах, — приблизившись с поклоном, заговорил лекарь, — и потому я не вправе молчать.

— Да как смеешь ты, райят! — взбесился хитроумный векиль на своем беспокойном скакуне, который так и норовил раздавить лекаря копытами своего коня. — Гоните прочь этого колдуна, мой падишах, он сумасшедший...

Адильшах жестом остановил его.

Лекарь же даже не дрогнул, он лишь печально взглянул на разноликую толпу падишаха и опустил голову.

— Возвращайтесь все во дворец, — приказал Адильшах визирю и другим вельмо-

жам,— я скоро вернусь.— И, заметив замешательство своих приближенных, добавил:— Не медлите, ступайте, здесь останутся нукеры...

И когда те, недовольные и злые, двинулись в путь, Адильшах снова обратился к лекарю:

— Я слушаю, говори, лекарь...

— В вашей груди бьется доброе сердце, мой падишах, и потому я не боюсь сказать вам правду...

Адильшах, схватившись за ручки кресла, подался вперед и, устремив на лекаря свой пытливый взгляд, взволнованно сказал:

— Ты не таись, лекарь, не бойся, говори, я ведь и сам чувствую, что от меня что-то скрывают, прячут, но дознаться не могу... Что? Плохо моему народу?

— Да, великий падишах, худо людям на местах,— с чувством отвечал лекарь,— поставленные тобой сардары, вместо того чтобы исполнять волю твою и сеять добро и справедливость, от твоего же имени чинят зло и несправедливость, бесправие царит почти везде, великий падишах...

— Как же так? — в недоумении воскликнул Адильшах, услышав рассказ лекаря.— Ты в своем уме? Я почти каждый день хожу по улицам и площадям города и не вижу того, о чем ты говоришь...

— О да, великий падишах! — ничуть не смутившись, ответил лекарь.— Здесь, рядом с вами, в столице, куда со всех концов света приезжают гости, сардары свой пыл укроти-

ли, они видят ваш гнев и боятся меча справедливости...

— А как же мои визири и вельможи, разве они всего этого не видят? — снова удивленно и недоверчиво спросил Адильшах.

— Им, мой падишах, — тут же отвечал лекарь, — не до тревог и забот народа, они отгородились от него, живут во дворцах огромных, в достатке великом, на всем готовом, и им не хочется менять этот порядок. Подумайте, мой падишах, зачем им бороться с сардарами, нервничать, прибавлять себе хлопоты, если их и так все устраивает. Они, наоборот, как раз против всяких перемен. И если Адильшахи при этом не доживают до старости, вашей свите все равно: чем чаще будут меняться падишахи, тем меньше будет перемен в их жизни.

— Это что же, я один, а остальные против меня? — недоверчиво и в то же время с тайной болью спросил Адильшах.

И этот вопрос не застал врасплох лекаря, он будто заранее знал о нем и тут же ответил:

— Не думаю, что вы одиноки в своей борьбе, великий падишах. Есть люди, преданные вам, но в таком великом вилайете их так ничтожно мало... Порой сардары на местах стараются и их сбить с толку, пускают пыль в глаза, а когда не удастся смирить какого-либо смельчака, так его гнут и ломают. Я только что пришел из соседней сатрапии, где известного ашуга Дуьзгуьна бросили в темницу. За что? Только за то, что он в своих достанах поет о тяжелой доле народа, о гнете

и деспотизме сардаров... Человека, который всем сердцем и могучим талантом служит тебе и твоему делу, великий падишах, сардары объявили врагом твоим и твоего шахства. Правду и справедливость бросили в темницу, великий падишах.

Падишах слушал и приходил в ярость. Он то порывался встать и устремиться вперед, то устало откидывался на спинку кресла, в задумчивости устремив взгляд куда-то в крону раскинувшегося тутовника.

— И что же, положение, выходит, безвыходное? — багровея от негодования, спросил Адильшах. — А почему я тебе должен верить?!

— Верить? — смело переспросил лекарь. — Вы даже можете убить меня, великий падишах. Но самым провидением мне приказано сказать вам об этом. А вот как поправить положение, вам виднее. Знаю только, что справедливость ни убить, ни заточить нельзя, она, словно птица счастья, дорогу себе найдет... только спешите, великий падишах, время не терпит...

Адильшах вдруг приказал нукерам подать ему коня и, бледный от гнева и возмущения, поскакал ко дворцу, оставив на дороге своего смелого осведомителя...

А во дворце начался переполох. Во все сатрапии поскакали «проверяющие», коим вменялось в обязанность разобраться в положении на местах и доставить во дворец провинившихся сардаров. Переполнились тюрьмы, пошли в ход розги и разного рода

пытки, а конца все не было. Ожесточившись на своих неверных подручных, Адильшах чинил сейчас над ними расправу, страдали и виновные, и безвинные. Не ведал падишах, что так справедливости никогда не восстановить...

Не пожалел он и притеснителя ашуга Дуьзгуьна, послал и его под смертельные розги.

Всполошилась свита Адильшаха, бросила весь арсенал хитростей на спасение своих устоев, на сохранение своих привилегий. Они стали уверять Адильшаха, что его тревоги напрасны и он совершенно здоров, что случай с ашугом — ошибка, от которой в такой большой стране никто не гарантирован, что лекарь этот сумасшедший, маньяк, которому каким-то чудом удалось бежать из сумасшедшего дома, и дабы не натворил еще какой беды, он снова водворен на место. Что он и сейчас не в своем уме, уверяет своих товарищей по палате, что в скором времени он будет падишахом. И если он, Адильшах, желает, может в этом убедиться сам...

Тем временем вездесущие агенты высокопоставленных вельмож разыскали несчастного смельчака и действительно поместили в сумасшедший дом. А так как лекарь стал сопротивляться и отрицать свою болезнь, подговоренные эскулапы надели на него смирительную рубашку и после многодневных «исследований» пришли к выводу, что у «больного» нарушена связность психических процессов, что он представляет опасность

для окружающих и требует изоляции... Никакие требования и просьбы лекаря не возымели действия, так как при той системе, которая установилась в шахстве, добиться правды было чрезвычайно трудно...

Если лекарь просил о встрече с кадием, то ему сначала вежливо отказывали, а потом, когда просьбы эти стали настойчивыми, встречу эту ему устроили, заранее предупредив кадия, что этот сумасшедший утверждает, что он не болен, что он якобы лекарь и что он целый час беседовал с самим великим Адильшахом и у них есть общая тайна. И встреча с кадием, естественно, ничего не дала. Когда же лекарь кричал и требовал, чтобы его выпустили, его попросту били. Но даже в этом отчаянном для себя положении он надежды не терял, верил в торжество справедливости...

А Адильшаха терзали сомнения: глядя в зеркало, он вдруг понимал, что лекарь был прав, что бледность на его челе вовсе не признак здоровья, скрывают, видно, вельможи и сардары следы своих преступных дел, не всегда доходят до него просьбы и жалобы райятов, но в то же время у него не было оснований сомневаться в преданности своей свиты: в визире, во многих вельможах, да и в сардарах тоже. Ну а если кое-кто из них порой забывает о своем долге, что ж, люди есть люди...

И чтобы принять окончательное решение, Адильшах в сопровождении своих вельмож поехал посмотреть на лекаря.

В палате было шумно. Оставаясь незамеченным, сквозь решетку окна Адильшах заметил что-то оживленно рассказывающего лекаря. Больные слушали его внимательно, лишь некоторые из них оставались безучастными к происходящему. Вот к ним вошел отправленный для беседы с лекарем врач.

— На что жалуетесь, больной? — обратился врач к лекарю.

— Я не болен, черт возьми, я совершенно здоров, — с волнением произнес лекарь.

— Что вы еще скажете? — поинтересовался врач.

— А то скажу, что вы надо мной издеваетесь! — снова с возмущением ответил лекарь и добавил: — А великий падишах знает, что вы заточили меня в сумасшедший дом? Он что, забыл, что ему угрожает?!

— Да, ему известно, что вы больны и находитесь здесь, — невозмутимо ответил врач. — И мы вас вылечим...

— Меня? — с иронией переспросил лекарь и запальчиво добавил: — Да вы и те, кто над вами, не то что в меня, вы каждый день стреляете в падишаха, поите его ядом, режете его сердце, делаете так, чтобы все осталось по-старому...

— Мы убиваем падишаха? — нарочито громко спросил врач.

— Да, вся ваша свора хищников, — словно в безумии, отвечал лекарь. — Но не радуйтесь, не долго вам осталось торжествовать, придет новый падишах...

— И кто же? Не вы ли? — преднамеренно провоцируя лекаря, спросил врач.

— Да, я, я буду падишахом! — величаво и торжественно заявил лекарь. — И тогда придет время великой справедливости! Запомните это...

— Смотрите на нового падишаха! — с иронией воскликнул врач, показав рукой на лекаря. — Падайте перед ним ниц!

Раздался смех, кто-то бросился к ногам лекаря, словно просил прощения у государя. Но были в этой компании и безучастные к происходящему.

— Вы, мой падишах, убедились теперь, что он ненормальный? — обратился к Адильшаху векиль. — Этот оборвыш мнит себя падишахом.

Молчаливо, но с каким-то недобрым предчувствием возвращался во дворец Адильшах. Тяжко стало ему и невыносимо грустно от увиденного, словно оборвалась нить его жизненной силы. Невеселые думы, словно хворь, точили его сердце, и через неделю молодой Адильшах умер...

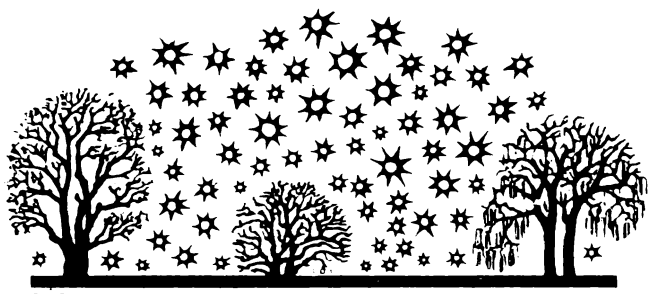
По обычаям этой страны, поскольку у Адильшаха не было наследника, выпустили «птицу счастья», чтобы того, кому на голову сядет эта птица, избрать падишахом. Трижды выпускали птицу, и трижды садилась она на голову... лекаря.

В первый раз она долго кружила над городом, словно искала кого-то в этом огромном человеческом водовороте, а потом стремительно полетела к открытой двери

больничной палаты и, влетев, тихо села на голову лекаря. Взбесившиеся таким выбором птицы кадии и тайные советники, мечтавшие о шахском престоле, векили, наглухо закрыли двери лекарской обители и потребовали повторить испытание. Но, отпущенная на волю, птица вновь вернулась к прежнему месту и, пробравшись сквозь решетку окна, уселась вновь лекарю на голову. И когда тайные враги лекаря закрыли на этот раз и окно и, злорадно ухмыляясь, стали дожидаться, что же предпримет птица в третий раз, они были поражены тем, как бесстрашная птица бросилась в печную трубу и полуживая, но гордая своей победой, снова оказалась на голове многострадального лекаря...

Лекарь стал падишахом.





МААФЕ

Над городом нависла сиреневая ночь. В синем небе купались желтые звезды. Затихли звуки, предоставив власть хрупкой тишине.

И когда город затих, а тусклый свет далеких звезд просачивался в окно, пробитое у самого потолка одной из холодных комнат мечети, в ней заговорили два маафе, поведав друг другу свои сокровенные думы.

— Как прошел твой второй день, друг мой? — спросил один другого, как умудренный жизнью старик спрашивает молодого, начавшего познавать мир.

— Так же, как и вчера! — нехотя, махнув деревянной рукой, ответил молодой маафе. — Только не пойму я ничего, странные люди живут на земле...

— Почему? — удивился первый.

В раздумье молодой медленно подошел и встал под окно, поднял голову к свету, будто там, в бескрайних далях Вселенной, хранилась земная тайна, так взволновавшая его:

— Я вчера рассказывал вам,— начал он тихо, взвешивая слова, как будто на весах судьбы лежало его деревянное тело.— Да вы лучше меня знаете, что люди все умирают... Так вот, вчера на мне несли человека, чьи добрые руки четверть века воздвигали дома, мостили улицы, а потом растили для людей цветы... Я был горд и за того, кого несли, и за себя. А сегодня...

Он нервно заходил по широким каменным плитам, будто пробрал его холод, охладив мысли и сковав язык — источник величия и падения людского.

— ...а сегодня,— продолжал он,— на мне же несли другого. О нем даже при жизни, не то что после смерти, никто доброго слова не сказал... Неужели не могут люди покрасить, скажем, одного из нас в красный цвет, а другого — в черный, желтый, серый, да мало ли цветов для отражения людских пороков... Чтобы все видели, что тот человек, что в красном, не напрасно прожил на земле, а другой... другой должен был умереть еще в утробе матери. Вот и обидно мне стало. Значит, люди, осознавая все, несправедливость сами над собой чинят. Для чего же они живут?!

Выслушав, первый маафе улыбнулся, как улыбается мудрец, заметив робкие мысли своего ученика, и спросил:

- Что говорили о вчерашнем, сын мой?
- Добро делал людям...
- А о другом, сегодняшнем?

— Что собственное брюхо было ему дороже брата...

— Кто же говорил все это? — снова спросил первый.

— Как «кто»? — переспросил молодой и, подумав, сам ответил: — Люди. Да, люди...

Звезды слушали, мигая в небе. Они-то знали, что все в этом мире суета сует...





Собрание коллектива театра было несколько необычным, оно больше напоминало репетицию очередного спектакля по уже известному сценарию, с небольшой лишь разницей в том, что всем ходом событий руководил не режиссер, который, будучи очень недовольным и удрученным всем происходящим, сидел в углу большого кабинета, а директор театра, весьма самодовольный и, как выяснилось по ходу собрания, мстительный немолодой человек.

На «ковер» был вызван самый талантливый актер театра Семендеров за то, что тот, видите ли, нашел в себе смелость и всенародно назвал актера Неметова, как тот действительно того заслуживал, бездарью. Неметов от неожиданности вначале растерялся, но потом, придя в себя, тут же незаметно для остальных отпарировал, выругав обидчика по-матерному, за что Семендеров, опять же при свидетелях, дал ему еще и пощечину.

У «оскорбленного» оказались защитники.

Бездари — народ особый, они легко узнают друг друга по каким-то только им известным приметам: по низкопоклонству, завистливости, «дублености» кожи, и с молниеносной быстротой объединяются, тем более, если в жертву надо принести полную свою противоположность — легко ранимого, талантливого и принципиального человека. На сторону «обиженного» стал и директор театра, которому крайне не по душе был независимый характер Семендерова, его порой правдивые и довольно колкие замечания в его адрес.

Именно благодаря ему собрание было заранее спланировано и мастерски разыграно.

— Скажите, уважаемый Семендеров, — с ехидцей спрашивал директор, — за что вы ударили своего коллегу? — И, не дождавшись ответа, продолжал: — Как вы могли в этом храме культуры заниматься рукоприкладством, вы, который, по вашим словам, печетесь о порядочности, выдаете себя за человека честного, нравственно чистого. Как вы могли вот так просто, как говорится, ударить по морде...

В адрес Семендерова за мишурой «чистоты рядов и высокого долга советского актера» лилась, что называется, самая неприкрытая грязь. Подготовленные ораторы по бумажкам говорили о том, что Семендеров несносен, неуважителен к коллегам, кичлив и задирист, и если что не по его, так сразу бросается с кулаками, и, мол, пора решить вопрос о его дальнейшем пребывании в «нашем дружном» коллективе.

Справедливости ради следует сказать, что «заговорщикам» разыграть комедию до конца не удалось. В защиту Семендерова выступили лучшие силы театра — известные деятели искусств, подлинные мастера сцены. От их едких, наполненных сарказмом замечаний некоторым «правдолюбцам» становилось не по себе, они, как мыши, искали, куда бы спрятаться. Особой «похвалы» заслужил и директор «за так великолепно разыгранный спектакль».

И когда директорская команда явно почувствовала свое поражение, слово попросил «обиженный».

— Друзья! — начал он с милой подкупающей улыбкой. — Честно говоря, когда я писал заявление, вовсе не хотел, чтобы уважаемого Семендерова, как здесь требовали, выгнали из театра. Как и любому уважающему себя человеку, мне было обидно за то, что Семендеров не только при всех ударил меня, но и стал матерщинить в мой адрес...

— Да он не только бездарь, — вдруг услышали все возмущенный голос не желавшего ранее выступать Семендерова, — он к тому же отъявленный негодяй!

Семендеров сделал попытку встать с намерением то ли вообще покинуть кабинет, то ли еще что-то сказать, однако друзья, видя его состояние, уговорили его успокоиться и сесть на место.

А Неметов как ни в чем не бывало продолжал:

— Даже после этих оскорблений я не держу зла на Семендерова. Мы — коллеги...

— Когда лошадь куют и осел норовит копыто подставить, — с юмором заметил один в адрес беззастенчивого оратора.

Кто-то прыснул, с трудом удержав смех, а кто-то молча спрятал улыбку.

Неметов же, проглотив и это, продолжал:

— Да, да, друзья, мы — коллеги уже несколько лет, работали в трех спектаклях, вместе принимали заслуженные аплодисменты благодарных зрителей, каждый в меру своих сил старался...

— Ну, хватит! — оборвал разговарившегося Неметова главный режиссер, который все это время сидел в своем углу, то краснея, то бледнея перед этим невиданным нахальством. — Садитесь, Неметов, теперь я продолжу рассказ о ваших успехах, о которых вы так красноречиво говорите. Я и не знал об этой стороне вашего таланта...

Раздался взрыв смеха, словно прорвалась, не выдержавшая водного натиска, плотина.

— Я уже не молод, многое в жизни повидал и опыт имею будто бы немалый, а все же меня поражает то, что здесь некоторые, мягко говоря, «коллеги» и говорили как будто красивые и нужные слова, а вот спрятать себя за ними не смогли. Наверное, это и невозможно. И вот что мне в связи с этим вспомнилось...

Много веков назад жил-был один падишах, равного по богатству и уму которому не было во всем мире. Как и все падишахи, он был не

только сыт, но и пресыщен жизнью. Его уже не волновали красивые танцовщицы и мелодии искусных музыкантов, не могли рассмешить придворные шуты и приглашенные клоуны, у него не вызывали интереса рассказы странствующих дервишей и поэтов — словом, ничто не радовало падишаха, словно он жил не в самом красивом и полном жизнью дворце, а в застоявшемся болоте. А сердце падишаха, как у любого нормального человека, жаждало веселья, он хотел от души засмеяться или хотя бы улыбнуться...

И тогда было объявлено его повеление, мол, тот, кто рассмешит великого падишаха рассказом или словом единым, будет щедро вознагражден мешком золота, а тот, кто не сумеет этого сделать, — будет лишен жизни.

Как вы сами понимаете, — продолжал, улыбаясь, режиссер, — желающих заполучить этакое богатство оказалось немало, но всех ждала расправа на плахе, ибо падишах оставался равнодушным, как и прежде.

Но однажды в ворота шахского дворца постучал один авдал, которому тоже захотелось заполучить обещанное богатство. Его не волновал вопрос, как ему удастся это сделать, нет, его коротенькое умишко об этом не задумывалось. Хочу, и все...

На настойчивый стук авдала долго никто не откликался. Наконец, когда терпение авдала стало уже иссякать, ворота открылись и у порога появилась стража.

«Ты что стучишься, оборванец?» — набросился на авдала начальник стражи.

«Вы объявление вывешивали?» — вопросом на вопрос спросил авдал.

«Какое объявление?» — не понял начальник стражи.

«Ну, о том, кто рассмешит падишаха, — ответил авдал, — вот я и пришел...»

«Ты-ы? — удивился шахский стражник. — Ха-ха, да ты в своем ли уме? Ты взгляни на себя: грязный, оборванный, тут не до смеху, от тебя затошнить может. Убирайся отсюда, не то...»

«Нет, не имеешь права, я пришел по объявлению. — Авдал был настойчив, не думая о том, что его могут избить и выбросить. — Иди и доложи...»

Настойчивость авдала не знала границ, и стража, а затем векиль и визирь были вынуждены, предварительно искупав его, провести к шахскому престолу.

Надо полагать, что в те времена демократия все же имела силу.

И когда авдала усадили у ног великого падишаха, тот поднял голову и без всякого смущения (он не знал, что это такое) спросил повелителя:

«Скажите, мой шах, ваш папа на зурне играл?»

«Нет», — удивленно ответил шах.

«Ты знаешь, — добродушно сказал авдал, словно всю жизнь был знаком с шахом, — мой папа тоже не играл».

Услышав эти слова, шах сначала улыбнул-

ся, затем начал смеяться, а потом смех перешел в хохот. Смех тряс его утомленное ожиданием тело, и он прослезился...

И знаешь отчего, Неметов? — вдруг обратился главный режиссер к «обиженному». — Нет? Я так и знал. Шах смеялся оттого, что авдала отец вдруг оказался «коллегой» его отца...





Мышонок в последнее время почувствовал прилив сил, малость пополнил и обленился. Видно, найденные запасы съестного обеспечили ему вполне беззаботную жизнь. Если раньше в поисках пищи он не знал покоя, голод не тетка, и он заставлял преодолевать всевозможные преграды, порой доводя до крови десны маленьких крепких зубов и источив коготки быстрых, юрких ножек, то теперь движения его стали медлительны, лучше сказать — размеренны. Теперь он в минуты покоя позволял себе даже встать на задние ножки, этак с высоты горделиво оглядеть окружающий мир, с достоинством подбочиться, как часто случается и с людьми, которые после длительной полуголодной жизни вдруг незаслуженно оказываются в райском изобилии.

Именно в таком кайфовом состоянии духа оказался Мышонок на узкой лесной тропе, почти в двух шагах от шедшего навстречу Льва. Царь зверей вдруг остановился и без

всякого злого намерения, дружелюбно сказал:

— Эй, Мышонок, сойди с дороги, дай мне пройти, пожалуйста.

— Сойди с дороги сам! — встав в позу, с достоинством ответил Мышонок. — Я тоже тороплюсь.

— Ты что, белены объелся? — удивился Лев такому нахальству Мышонка. — Я ведь Лев!

— Ну и что? — не унимался Мышонок. — А я Мышонок, чем я хуже тебя?

От эдакой наглости Лев малость опешил, а потом, чуть повысив голос, вразумительно сказал:

— Уйди с дороги, дурак, не то...

— Не уйду! — смело ответил Мышонок, прямо глядя на Льва.

— Так ведь, сделав шаг, я раздавлю тебя, — предупредил Лев. — Уйди, тебе говорят!

Мышонок, нахально ухмыляясь, не сдвинулся с места.

Лев сделал шаг, и Мышонок оказался под его огромной лапой.

Уже собираясь уйти, Лев взглянул на раздавленного Мышонка и заметил у него вывалившееся из заднего прохода нечто похожее на сало.

— Так вот в чем дело! — наконец сообразив, проговорил озадаченный Лев. — Оказывается, он малость зажирел!



Никто из них ни вначале, ни потом не мог объяснить, с чего все началось: «...где ступили не так и сказали не то, на каком трижды проклятом месте» случился разлад, жестоко и неумолимо уводивший их в разные стороны. Как случилось, что дружеский упрек воспринимался как обида и даже оскорбление, а милые знаки внимания, которыми еще совсем недавно они одаривали друг друга, вдруг забылись, будто их и не было? Как случилось, что горечь разлада вдруг вычеркнула годы счастливого прошлого, а холод отчуждения все больше и больше леденил бунтующее изредка половодье чувств? Ни он, ни она этого объяснить не могли...

А ведь не так давно все было иначе. Были он и она, были, как утоляющие жажду родники, радостные встречи, белые ночи в Петровском саду, словно чудища, открывшие пасти, мосты на Неве, потом падающие кружась желтые листья, первые снежинки на

ее лице, как утренняя роса на розе. Были неожиданные прикосновения, теплые рукопожатия и жаркие, до одури, поцелуи. Любовь казалась беспредельной, а счастье — бесконечным. В целом мире были только он и она...

Правда, был еще третий — великий мудрец Уильям Шекспир. Он был всегда с ними: в мыслях, смехе и спорах. И он и она мало сказать любили, они поклонялись создателю изящных комедий и глубоких философских трагедий, могли часами говорить о его королях, и принцах, лордах и шутах. В сущности, с него все и началось, их первая встреча в театре...

Шел «Гамлет». На сцене кипели страсти. А в третьем ряду партера, вся подавшись вперед, словно в ожидании чуда, сидела хрупкая, тонкая девушка с непомерно толстой косой за спиной. Взгляд ее больших черных глаз устремился на сцену, и, казалось, она, а не принц Датский, предлагает своим незадачливым друзьям сыграть на флейте, а не на нем, не на его сердце. Он взглянул на нее и замер, как счастливый охотник, пораженный близостью добычи...

В антракте он накупил пирожных и лимонаду и стал торопливо есть. И если существует на свете судьба, то именно судьба взяла ее за руку и подвела к его столику. В буфете пирожных уже не было, и она купила только лимонад. Он узнал ее, радостно улыбнулся и, пододвинув к ней пирожное, простодушно сказал:

— Берите, ешьте, пожалуйста! У меня

много, видите...— И снова мягко улыбнулся. Она не отказалась.

— Поужинать не успел, с института — бегом сюда, физик я...— одним духом выпалил он.— А вы?..

— Учительница,— улыбнулась она, заметив, как он успевал и говорить, и, запивая лимонадом, есть пирожное.— Только вот первый год, литературу преподаю.

— О, как здорово! — по-мальчишески воскликнул он.— Я в детстве мечтал стать учителем, потом, как отец, хотел актером стать, потому и Шекспира люблю, а стал вот физиком...

И еще раз улыбнулся.

Она подняла голову, и глаза их встретились. Казалось, весь порыв молодости, все его чувства неудержимо понеслись к этой милой черноволосой девушке. Он еще что-то сказал ей, она что-то ответила. Но что сказали глаза, какую тайну души поведали они в этот миг, почему эти двое доверились друг другу? Она после спектакля молчаливо надела с его рук пальто, дождалась, когда он сам оденется, и вместе вышли из театра.

Ах, эта дивная зимняя ночь, «шекспировская ночь» — называли они ее потом, полная смутных ожиданий и взаимопознания.

Спустя два года, в ночь свадьбы, беспредельно счастливый, он, как великую тайну, открыл ей давнюю мечту: первого сына назвать Уильямом. А за трехлетним мальчиком потом, как две капли воды похожая на мать, на свет появилась белокурая девочка.

Радостный от переполнявших его чувств, он самодовольно повторял, что, по поверью, сын, похожий на мать, а дочь — на отца, будут счастливыми.

Да, тогда, казалось, ничто не угрожало их ладной жизни. Так что же случилось потом? Когда же образовалась та скрытая, предательская трещина, послужившая угрозой их совместной жизни? Год, два года назад, может быть, еще раньше, но на фоне той большой любви и дружбы, которыми щедро пользовался он, не придавал значения отдельным проступкам и «шалостям», что позволял себе иногда. Пользуясь источником веры и любви, он и не представлял, что этот источник может истощиться. Как и многие люди, он не проявлял заботы о колодце, из которого утолял жажду, до той поры, пока он не высох.

Он мучительно искал ответа и, не находя, еще больше отчуждался от нее...

Может быть, это началось тогда, когда он почти до утра просидел с друзьями за преферансом, а она прождала всю ночь — накрыла праздничный стол, приготовила его любимые блюда, надела подвенечное платье — в день пятой годовщины их свадьбы она решила преподнести ему сюрприз... Куда только не звонила она в эту ночь! И лишь узнав, что он у одного из друзей, измученная ожиданием, так и забылась сном в кресле.

Нет, извинений не было. Он пришел чуть навеселе и сразу лег спать. А утром, стыдливо опустив голову, ушел на работу. И она его не

упрекнула, не сказала обидных слов, но что-то тогда с ней произошло, что-то надломилось, словно буйный ветер побил яблони в весеннем саду. В глазах, которыми она смотрела на мир с радостным удивлением, вдруг появился страх, будто жизнь напугала ее своей обратной стороной.

Возможно, нечто подобное было и раньше, в жизни всякое бывает: где-то обидел словом, когда-то забыл поздравить, не похвалил, не поддержал или еще что-то другое, но тогда так велико было ощущение бесконечности любви, так было много радостей, что в этом водовороте счастья она не придавала им значения, прощала ему — женщины умеют прощать. Но обиды эти не забылись, а тайнописью отложились на белом листе ее памяти. Людям свойственно забывать все и не забывать ничего...

А вот в ту ночь незаметно, невзначай, он переступил черту, сотканную из невидимых нитей, рожденных интуицией и тактом, нежностью и любовью, уважением и заботой, хрупких и чистых, как души младенцев. Видно, оборвалась тогда одна из них, без которой стали немыслимы и все остальные, как без основы немыслимо соткать ковер.

Он понимал, что сильно обидел ее, но ни завтра, ни потом не признался в этом. Ее молчаливый протест задевал его мужское самолюбие и вызывал в нем ответное молчание. Не стоило, считал он, из мухи делать слона, превращать все это в трагедию, мол, этим он обижен трижды. Ах люди, люди-че-

ловеки! Сколькие же из нас, обидев однажды, из-за гордыни не нашли в себе мужества признать свою вину и теряли потом близких и дорогих себе людей! Ведь неспроста в писании сказано: «Если сделаешь шаг навстречу ближнему своему, он к тебе побежит, если же предстанешь перед ним исполненный желания искупить свой грех, почувствуешь готовность простить тебя».

Между тем корабли их все дальше и дальше уходили в разные стороны. Теперь уже на смену молчаливому протесту пришла раздраженность. Он перестал переносить некогда милые шалости детей, их говорливые игры, а когда Уильям ненароком брошенной игрушкой сделал больно сестре, он вскочил, отшлепал мальчонку по рукам, отчего заплакали дети теперь вместе. Подавленный этим, он схватил плащ и выбежал на улицу.

Однажды, уходя на работу, его расстроил на кухне не туда поставленный кем-то чайник, потом он, взбудораженный, выронил в ванной комнате электробритву, и когда, услышав шум, она подошла и посмотрела на него с укором, он еще больше обозлился и впервые ушел на работу небритый.

Жизнь стала мукой. Угрюмое молчание родителей передалось и детям, они тоже, словно в ожидании чего-то страшного, перестали бегать и веселиться, их игры стали бесшумными, будто в комнате был покойник. И если, забывшись, кто-то из них громко смеялся, тут же спохватывался и, стыдливо опустив глаза, умолкал. Дети понимали, что

с родителями произошло что-то неладное.

Теперь он допоздна не приходил домой, не мог вынести ее молчаливого, полного укора, взгляда. Его это раздражало и злило, и он стал делать все наперекор. Если она просила, чтобы он сегодня не задерживался, мол, надо пойти на собрание, он нарочно возвращался в полночь, если она просила отвести Уильяма к врачу, он, уходя, зло бросал, что она может сделать это и сама.

Выведенная из себя, она однажды бросила ему в лицо оставленную им на столе зарплату. Некогда полная сил и энергии красивая молодая женщина, она вдруг осунулась и почернела, зловещие тени бессонных ночей пролегли под глазами. Если раньше вынужденно она и нарушала молчание, то теперь он для нее перестал существовать, превратился в небытие, в воздух. Она старалась вычеркнуть его из жизни...

Разлад был полный. Для него было мукой возвращаться с работы домой, для нее — видеть его и слышать шаги рядом. Однако на измену они не шли, оба понимали, что, переступив эту черту, наступит конец. Ни он, ни она на это не решались, потому что каждое утро на них смотрели с укором испуганные глаза детей, которые ничего не понимали. Да, ради детей они не шли на разрыв, пока были силы...

В предновогоднюю ночь он оставил записку: «Приду поздно, ключ в дверях не оставлять». Это выбило ее из сил, и в томлении духа она не находила себе места, затем,

будто невзначай, села к трельяжу и, посмотрев на себя в зеркало, невольно подумала: «Что же ты с собой делаешь, милая?» Потом рука непроизвольно потянула к себе дверцу шкафчика, и она увидела никем не тронутую блестящую сумочку макияжницы, а рядом брошенный неделю назад пригласительный билет на бал-маскарад.

С твердым намерением пойти на карнавал она уложила детей, сделала маникюр, чуточку подкрасила губы, чего не делала никогда, на нежданно появившуюся морщинку у губ поставила «родинку», надела красивое белое платье — последний подарок матери, — которое еще ни разу не одевалось, белые туфельки на низких каблучках и словно школьница-выпускница, сбросив тяжкий груз минувшего, пошла на бал...

Во дворце господствовало царство красоты и радости: все кружилось, смеялось и пело, и в этом водовороте всеобщего веселья к ней вернулось вдруг хорошее настроение. Она смело направилась в костюмерную, взяла напрокат корону с диадемой, маску на глаза, длинные, до самых локтей, белые перчатки и накинула на плечи тонкую пелерину. «Прямо Люциана шекспировская, — подумала она у зеркала, — только Антифола не хватает...» — горько улыбнулась она вдобавок и без всяких церемоний дала себя окружить первому кавалеру, пригласившему ее на танец.

Из репродуктора лилась песня Ободзинского:

...Музыка, песни, фейерверк и смех —
И среди всех ты сегодня красивее всех.
Я бы с тобой даже тысячи лет танцевал
Только бы не кончался наш карнавал.

— А ведь Ободзинский о вас поет, — признался ей партнер. — Вы на самом деле сегодня красивее всех...

— Спасибо, — поблагодарила она, но от его повторного приглашения отказалась.

После второго и третьего танца она устала и облокотилась о колонну, решив немного отдохнуть. «Отвыкла, — подумала вдруг, — а ведь была лучшей танцовщицей института...»

Но маски находили ее и наперебой приглашали на танцы. Маска-медведь, увалень, косая сажень в плечах, так взял ее за талию, что она, кружась в танце, не доставала ногами до пола. Потом от души смеялась, когда он мягко ее приземлил.

Уже где-то к полуночи на танец пригласил ее Тигр. Танцуя, она недоумевала, где ее партнер мог найти такой костюм. Он был сшит из мягкой и легкой синтетической ткани, и так искусно была сделана маска, что невольно вызывала восторг. Но в следующую секунду маска заговорила совсем не потигриному:

Прекрасная! Как вас зовут, не знаю,
Не ведаю столкнувших нас чудес;
Вы сами чудо: прелесть неземная
Велит вас счесть посланницей небес...

Голос был с хрипотцой, словно что-то

мешало говорившему быть ясно услышанным. Она вдруг замерла:

— О маска-тигр, вы знаете Шекспира?

— Так что ж Люциана ответит Антифолу? — последовал вопрос.

Л ю ц и а н а

Безумны вы, что говорите так.

А н т и ф о л

Я ослеплен, и сам не знаю как.

Л ю ц и а н а

Так пусть порок вам не слепит очей.

А н т и ф о л

Я ослеплен игрой твоих лучей, мой
дивный свет!

Л ю ц и а н а

Спешите же к жене!

А н т и ф о л

Любовь моя! Во мраке слепнуть мне?

Танец закончился, и он ненароком наступил ей на носок туфельки, оставив на ней черное пятнышко.

— Простите, ради Бога,— сказала маска и нагнулась, чтобы вытереть пятнышко. Однако это ему не удалось.

— Да нет, что вы! — искренне сказала она и отстранилась от него.

— Как... вы... говорите...— Маска-тигр остановился вдруг в задумчивости.— Ваш голос... нет, не может быть... Куда же вы, постойте, прошу вас...— крикнул он ей вдогонку в следующую секунду.

Она посмотрела на часы и испугалась — время неумолимо перешагнуло за полночь.

Взглянув в сторону костюмерной, она поняла, что там сейчас уже никого нет, и с намерением сдать завтра взятые напрокат вещи, направилась к выходу. Снова пел Ободзинский:

Кто тебя выдумал, праздничный карнавал,
Кто это шумное чудо влюбленным дал,
Верю, что мы сохраним с тобой навсегда
Этот волшебный добрый наш карнавал.

У самого выхода Тигр нагнал ее:

— Я провожу вас...

— Нам не по пути...— ответила она и взялась за дверную ручку.

— Нет, не Антифол, а я скажу вам снова: «Я ослеплен игрой твоих лучей, мой дивный свет».

— И я отвечу тоже,— улыбнулась она.— «Спешите же к жене!»

Он остановился в задумчивости, пораженный ее непреклонностью, а она тихо добавила:

— Спасибо вам за вечер. Прощайте, мне пора...— И ушла.

Усталая, но словно воскресшая за эту ночь, она вернулась домой. Дети спали. Его еще не было. «Наверное, опять играет в преферанс»,— подумала она, сняла туфельки у кровати, бросила на стул взятые напрокат вещи, разрыдалась от вдруг нахлынувших на нее чувств и бросилась на кровать.

Вернулся он, держа в руках какой-то пакет, и крадучись прошел к своей кровати. Сквозь облака пробилась полная луна, и ее лучи осветили вдруг их спальную комнату. Его

взгляд невольно упал на пару белых туфельек, стоявших возле кровати жены, и на одной из них, на самом носке, родинкой выделялось до боли знакомое черное пятнышко. Он замер от неожиданности, и тут же увидел ее маску и корону с диадемой...

— Люциана! — негромко вскрикнул он и, развернув пакет, быстро откинул маску и влез в костюм тигра.

Она проснулась от таинственного оклика и удивленно посмотрела на мужа:

— Ты?...

— Моя Люциана! — В костюме тигра он бросился к ней, забыв в эти минуты обо всем на свете...

Утром дети заметили, что родители, как и раньше, шутят и улыбаются, и, быть может, впервые за последние месяцы счастливо улыбнулись сами. Ах эти дети, они все замечают...





ИСПОВЕДЬ

Таких дворов в старой части города и сегодня немало. Уложены они широкими каменными плитами, где-то сбоку поставлена чугунная водяная колонка, неведь как отлитая старинным мастером, и тут же — сбитый коммунальщиками общественный туалет. От ворот с обеих сторон вверх к общему на весь второй этаж балкону уходят деревянные лестницы.

Летними вечерами, когда палящее солнце скрывается за высокими стенами старой крепости, жильцы второго этажа выходят из своих душных гнезд и, облокотившись на перила балкона, увлеченно делятся новостями: начиная с последних хоккейных событий и истощения рыбных запасов Каспия до многоженства в Турции. Но чаще всего говорят о раби Овруме, жильце первого этажа, который вот уже много лет каждый вечер возвращается домой, мягко говоря, навеселе, и, стоя у колонки на коленях, как бы совершая намаз, подставляет голову под холодную струю, а потом уже весь мокрый, то

ли от принятого душа, то ли еще невесть от чего, бормоча что-то, плетется в свою конуру.

Появление пьяного раби Оврума вызывает негодующий возглас с балкона.

— Вот, полюбуйте на этого субчика! А мы еще удивляемся, чего это наши дети пьют...

Это возмущается высокий, худощавый, седой мужчина, старый грузчик городского комбината, сын которого в последнее время пристрастился к вину.

— Твой-то, пожалуй, пьет не поэтому, — с ехидцей замечает полная, пышногрудая соседка, известная на всю улицу сплетница.

— Чья бы... мычала, — не выдержала болезненная жена грузчика. — Тоже мне правдолюбка нашлась, ведьма...

— Ты сама ведьма, чахоточная! — вспыхнула пышногрудая. — Невестку-то выжила, житья не дала, а теперь за собственного сына принялась...

— Ну, ну, замолчи, балаболка, — вмешался грузный, жирный сосед, между головой и телом которого, казалось, не было шеи. И, намекая на ее стремление выдать свою перезрелую дочь за соседского сына, добавил: — Знаем мы, отчего у тебя за чужого сына душа стонет, ха-ха-ха!..

— А ты заткнись, старый боров, — вмешалась жертва косметики — раскрашенная дочь пышногрудой. — Лучше бы работой занялся, чем языком чесать...

— Ах, так! — возмутилась жена толстяка и пошла на молодую фурию: — Чучело ты

гороховое, крыса заморская, финтифлюшка несчастная, бижан неизвестно от кого понесла, теперь под соседского сына подмазываетсяя?!

Шум. Скандал. Из насиженных гнезд повыскакивали остальные соседи. Посыпались недовольные возгласы: «Отдохнуть не дадут!» «И в собственном доме покоя нет!»

В течение нескольких минут у поругавшихся соседей не осталось тайн друг от друга, ложь и сплетни приобрели силу правды, зло восторжествовало над привычным добром, но... к утру все забудется, и все пойдет своим чередом.

А виновник этого дворового спектакля, раби Оврум, тем временем, как говорится, без задних ног в одном исподнем давал храпака.

Шел уже третий год, как раби Оврум был выдворен из храма. Приставка к имени давно уже ничего не выражала, но оставалась при нем как принадлежность к «предмету». Раби Оврум, и все: фамилии его давно уже никто не произносил, да и редко кто знал ее, ибо за всю свою жизнь он нигде не работал.

Выдворению раби Оврума из храма Господня предшествовала довольно неприглядная история, которую служители храма постарались сохранить в тайне, не предать гласности, но избавились от скомпрометировавшего храм служителя по той причине, что в последний раз раби Оврум, поднявшись на амвон, предварительно не остограммился, как обычно, а окилограммился, и вместо того, чтобы

сказать прихожанам «аминь», применил к ним «высшую мате-матику».

Эта версия была наиболее правдоподобной, ибо о дружбе досточтимого раби с зеленым змием знали в городе почти все...

Так раби Оврум на склоне лет оказался на улице. Не пощадили «братья», даже пенсию ему не определили.

Зарабатывать трудом раби не мог, никто его этому не учил, слава Богу, деньги сами шли к нему, как муравьи к щербету. А разравставшаяся жажда к горькой требовала средств, и раби стал исподволь, ежедневно продавать свои личные вещи и тут же пропивать их. Последнее кресло работы искусного мастера-краснодеревщика он пропил на исходе второго года и оказался ни с чем. Больше продавать было нечего. Старую кровать с клопами да треногий стол никто не брал, даже за пол-литра тутовой сивухи.

Раби ходил сам не свой, опустошенный, разбитый, небритый, в давно не чищенной одежде. Оставшемуся без денег, ему перестала стирать и старушка-соседка, старания которой держать его хотя бы в чистоте оказались тщетны.

Знавшие его близко то ли из сострадания, то ли еще невесть по какой причине, давали ему на «чай», чтобы он тут же в компании собутыльников пропил и это. В пивнушках, заметив его жадный взгляд, такие же сердобольные выпивохи иногда давали ему выпить, и он, алчно схватив стакан, тут же опрокидывал его в свою жаждущую утробу. Но после

очередного привода в вытрезвитель и неприятной беседы с участковым ему уже никто выпить не давал.

И тогда он пошел по родственникам. К несчастью, их было мало. Он стал уверять их, что не станет больше пить, что это было в последний раз, пусть, мол, они дадут ему немного денег на первое время, он пойдет работать, хотя бы переплетчиком в типографию, и тогда все пойдет по-другому, он снова вернет прежнее уважение людей, не подведет, не унизит своих родственников. Говорил он умильно и трогательно, будто это был не горький пропойца, а сам посланец Бога, белокрылый ангел, с чистой и прекрасной душой младенца.

Ему поверили, дали денег. Он и эти пропил.

Были два дня сплошных «охов», жадного стремления утолить жажду. И он снова пошел к родственникам. Упав на колени — в свою излюбленную позу, он стал умолять их о прощении, что это не он, а бес его попутал, дьявол свел с истинного пути, пусть его покарает рука Господня, если он еще раз притронется к этому захриману-вину, изобретению сатаны, а сам он уже хотел было пойти на работу, вот и заявление лежит в кармане, поверьте в последний раз и дайте денег, хотя бы на первое время...

Поверили. Родственники наскребли кто что мог и дали ему денег.

После недолгих колебаний он и эти пропил...

На этот раз идти уже было некуда. Все пути

отрезаны. Несколько раз бил челом в храме Господнем, но там его и слушать не захотели...

Проснулся он в полночь от удушающей жажды. Быстро схватил со стола чекушку, но она была пуста. Вышел во двор и жадно выпил банку холодной воды из колонки, но и это не отрезвило. Утроба настоятельно требовала зелья. А куда идти в такую пору?

Спал город, утомленный трудовым днем.

Отчаяние охватило раби Оврума, его больной мозг лихорадочно работал в поисках выхода. И невольно взгляд его упал на ученическую чернильницу и ручку, которой в былые времена заполнял пресловутую кассовую книгу в храме. Он сел за стол, залил в чернильницу воды и стал писать. Лицо его приняло лик святого, одухотворенно и умиленно он посмотрел в потолок и, как человек, принявший твердое решение, начал...

«Боженька, здравствуй!

В отчаянии и с надеждой обращаюсь к Тебе! В тяжких грехах утопает раб Твой! И потому, став на колени перед всевидящим оком Твоим, молю о прощении и помощи, о Господи!.. Ибо люди, в которых вдохнул Ты толику божественного разума и которым доверил власть над другими, именем Твоим прикрываясь, чинят расправу и несправедливость кругом. Не живут они заботами прихожан, не обременяют себя службой, а в вечных разъездах и пиршествах, себе в наслаждение, проводят время свое.

Вот исповедь моя, послушай, Господи!

Еще мальчишкой, пятнадцати лет, безотцовщиной, услышав всевышний зов Твой, пришел я в лоно Твое. Безгрешный, как ангел, чистый, как родник, я боялся даже запаха этого захримана-вина. Не раз дьявол вводил меня в искушение, строил всякие козни, но я не поддавался. Шли годы, я делал в храме все: убирал, мыл и подметал, переплетал старые книги, и тут же учили меня по Твоим творениям. Я понял, что это Ты, создавший меня, хотел этого и из своих неиссякаемых сокровищниц мудрости, без жадности и сожаления, посылал мне одну за другой. Понемногу я стал постигать великую истину Твоего наследия — я стал раби.

Пришло уважение прихожан, земные блага полились ко мне, как из рога изобилия. Меня стали приглашать на торжества и праздники, на рождение и смерть, семейные раздоры и примирения, совершеннолетие или составление завещания, на святое резание животных...

Но почему-то, прости раба своего за прямоту и простодушие, Господи, с этого времени и начались все мои невзгоды. Мне пришлось делать то, чего мне делать не хотелось и не нравилось. Но я делал, ибо все это не противоречило Священному Писанию.

Посуди сам. Умер человек — в течение семи дней каждый вечер раби должен пить первый стакан вина. На седьмой день, когда обычно умершему ставят памятник, раби обязан выпить вино опять первым. Потом сорокоднев — снова пить.

При регистрации брака, по воле Твоей, о Господи, раби обязан увековечить союз молодых выпиванием. При рождении ребенка и при его совершеннолетию раби непременно должен выпить, ибо в противном случае все это не принимает установленной обрядовой формы.

Что же мне было делать, как не выпивать? Мог ли я перечить воле Твоей, не исполнять правил великого Писания Твоего?

Противное вначале, вино стало приобретать потом приятные вкусовые оттенки, поднималось настроение, повышался прилив сил, говорить и трактовать Твои непреложные истины становилось легче и лучше.

Как-то, хорошо выпив по случаю регистрации брака, я был после этого приглашен на благословение покойника в последний путь. И там, перепутав, назвал покойника именем живого его брата, который стоял рядом со мной, чем привел в замешательство собравшихся.

О Господи! Ты, наверное, знаешь этого негодника, грузчика заготовительной базы, шутника Бирора. Однажды на поминках бедного Ханамила он крепко напоил меня, а потом, взвалив на спину, через весь город, людям на посмеище, приволок и, как куль, бросил во дворе. Другой раз, накануне свадьбы в доме старого виноградаря, я, нализавшись этого захримана-вина, стал резать овцам не шею, как это принято делать, а курдюки, отчего поднялся такой переполох, что хозяева, надавав мне хороших тумачков,

отправили туда, где Макар телят не пас.

Я бы мог рассказывать еще и еще, но не стану отнимать Твое драгоценное время описанием моих злоключений. А хотел бы спросить, Боже милостивый, виноват ли я? Не случилось ли со мной это несчастье, когда я выполнял волю Твою, поэтому справедлива ли та тяжелая кара, которую мне присудили?

Но есть на мне и тяжкий грех, каюсь, перед людьми и государством виноват, Боженька! Соблазну поддался. Но опять-таки, доля вины моей во много раз меньше, чем других «братьев», а наказан да посрамлен я один. Посуди сам. Как-то вызывает меня к себе старший раби, я в то время кассиром работал, и говорит:

«Что бы тебе, друг мой, не завести вторую кассовую книгу, так сказать, фиктивную...»

«Для чего?» — ничего не поняв, переспрашиваю.

«Как для чего? — удивляется он, — экий ты недогадливый. Финотдел к нам ходит? Ходит! Проверяет наши доходы, берут подоходный налог. А ты во второй книге не пиши всех доходов, как делаешь в первой. Придет проверяющий — подай вторую книгу. Недоданный налог подели пополам».

Чего греха таить, понравилось мне это предложение, а потом закралось сомнение.

«А не опасно ли это?» — спрашиваю.

«Да что ты, — улыбается старый раби и говорит: — Мы как у Бога за пазухой».

Как мне было не согласиться?

Через два года все это раскрылось, разницу

всю государству вернули. До прихожан, правда, все это не дошло, «братья» оставили в тайне, а меня... а мне Ты, Боже справедливый, спустив с неба свою вседостающую длань, дал такую пощечину, силу которой помню и сейчас.

Воля Твоя, Всевышний! Но почему Ты наказал только меня одного, раба своего верного? Разве я не служил Тебе верой и правдой все эти годы?

Прости меня, Господи, если я, в порыве душевного расстроя, сказал что не так, не кощунствуя, а токмо справедливости ради.

Теперь, когда исповедь моя позади и ты знаешь все мои невзгоды и унижения, прошу Тебя, Боженька, об одном одолжении. Тебе это ничего не стоит, для Тебя это пустяк, а для меня — вопрос жизни и смерти. Мне на закате жизни, на склоне лет, очень даже нужно, чтобы Ты его исполнил, дабы минули бы меня унижения и оскорбления. Господи! Вышли мне тысяч пять денег! Ну, если Ты по какой-либо причине не можешь это сделать сразу, за отсутствием наличности, прошу Тебя выслать пятьсот рублей. А если Ты и этого сделать не можешь, то пошли мне хотя бы рублей пятьдесят.

Ты, о Всевышний, единственный, к кому я еще могу обратиться с надеждой и ожиданием, ибо, в противном случае, жизнь моя вообще теряет смысл.

Увидев заботу Твою и внимание, может, и жизнь моя повернется в сторону праведную, может, бес и сатана перестанут строить

против меня свои дьявольские козни. Вечно буду благодарить Тебя, Господи, и еще раз взываю к Твоей милости.

Верящий в Тебя
раби Оврум».

Запечатав письмо в конверт, раби тем же нетвердым почерком вывел: «Господу Богу!» — и надписал свой обратный адрес.

Через день почтальон сочла почему-то нужным отнести письмо в милицию и вручить участковому. Там, собравшись в круг, долго смеялись над незадачливым раби Оврумом, кое-что выписали из письма себе для дела, а потом по предложению того же участкового сложились — кто сколько мог (кто его знает, может быть, действительно человек решил изменить свою жизнь!) — и послали раби Овруму не пятьдесят, как он просил, а сорок рублей, шутливо дописав: «От Господа Бога через участкового».

Естественно, перевод очень обрадовал раби Оврума, и на радостях он стал пропивать и эти деньги. Когда они подходили к концу он сел писать Богу повторное письмо.

«Боженька, здравствуй!

Дошел-таки крик души моей до Твоего слуха! Спасибо Тебе, Господи, за перевод! Я уж было стал сомневаться, терять веру, что Ты откликнешься, а без веры, сам понимаешь, какой смысл жить...

Думаю, что это не случайность, а Божест-

венный дар за верную многолетнюю службу мою.

Прошу Тебя, Господи, вышли мне еще рублей пятьдесят, видно, так Тебе удобней. Только в следующий раз не делай этого через нашего участкового, этот хитрец десять рублей себе оставляет...

Верный Тебе
раби Оврум!»





Вот уж поистине душа человеческая — потемки. Проживешь с человеком, можно сказать, целую вечность и соли немало съешь с ним, а не узнаешь его. Да чего там... Лучше уж я все по порядку расскажу.

История эта приключилась с нашим старым дворником, тетушкой Басмат. Рассказывали, что много лет назад Басмат, молодая и красивая вдова, вышла замуж за богатого старика. Но уже через год, оставив ей крохотного сынишку, старик ушел догонять своего покойного отца.

Жила она в самом конце прямой и шумной улицы, в маленькой комнатке. Там стояла старая никелированная кровать, рядом — небольшой шкафчик и небольшой круглый стол, на котором обедала и ужинала тетушка Басмат.

Еще скромнее были ее расходы. Покупала тетушка Басмат все самое дешевое: мятые помидоры, протухшую селедку, а мясо не ела от одной Пасхи до другой. Однажды долго

упрекала себя, что купила на рынке сыр, который в магазине стоил дешевле: «Вот дура старая, — ворчала она, убирая улицу, — проморгала». А по одежде мы ее узнавали издали. Носила она старое заплатанное платье и черную косынку.

Соседи по двору знали о ее скупости и не раз донимали ее расспросами.

Особенно усердствовал шестнадцатилетний Рабо — жизнерадостный и трудолюбивый мальчик, взваливший на свои неокрепшие плечи всю заботу о больной матери и маленькой сестре. Сравнивая свою семью и тетушку Басмат, Рабо никак не мог постигнуть житейскую премудрость хитроумной соседки и иногда, шутя, спрашивал ее:

— Наверное, тетушка Басмат, вы немало денегжат накопили?

— Накопила? — серьезно переспрашивала старуха. — Да откуда? Если бы у меня были деньги, разве я так жила?! Вот ты, наверное, думаешь, что тетушка Басмат одинока, какие у нее расходы? Не-е-ет, ошибаешься, милый, хоть и одинока я, но расход у меня немалый. В день, скажем, нужна буханка хлеба, зелени пучок, сахарок, ну там керосин и прочая мелочь... Раньше, когда сынок мой, Давид, был жив, пусть земля ему станет пухом, так он мне и чувяки покупал, и платье дарил, а сейчас... — И она вздыхала, точно человек, потерявший целое состояние. Потом, немного помолчав, тетушка Басмат добавляла: — Вот вы, наверное, поговариваете: мол, тетушка Басмат денежки

прячет. А услышит это какой-нибудь вор, да и поверит, что у меня деньги есть. Зря беду на меня наводите, нехорошо это.

— Неужели вы воров боитесь? — улыбаясь, спрашивает Рабо.

— Да как мне, старой женщине, воров не бояться, — отвечала тетушка Басмат.

И в самом деле, она почему-то очень побаивалась воров. Как только солнце прятало свои лучи и прохожих на улице становилось меньше, тетушка Басмат накрепко, на засов, закрывала дверь, а ставни единственного окна почти всегда оставались закрытыми.

На это были причины, особые причины. Тетушка Басмат была не только дворником, но еще занималась и другим делом — ростовщицеством. И знал об этом только один человек — посредник, через которого она совершала свои операции.

Доход ее был немалый. И каждую неделю, склоняя седую голову над столом, при свете тусклой лампы она подсчитывала деньги, подолгу перебирала их. И, подводя окончательный итог, старуха аккуратно складывала накопленное в мешочек, а потом прятала под плитой никогда не топившейся печки в стене.

Когда тетушка Басмат бывала довольна своим доходом, а это в последнее время случалось редко, она с хорошим настроением поднималась раньше обычного и с усердием убирала двор, а потом улицу. Но когда доходу бывало маловато, что случалось чаще, она почти ни с кем не разговаривала, а уборку делала из рук вон плохо. В такие вечера она

ложились без ужина и, глубоко вздыхая, закутывались в одеяло с головой.

Каждый раз, перед тем как ложиться, тетушка Басмат снимала с плиты конфорки, извлекала мешочек и бережно прятала его в изголовье. Иногда, проснувшись ночью, она хваталась за подушку — уж не пропало ли что! Ей постоянно виделись дурные сны. Уходя из дому, она прятала мешочек во внутреннем кармане, у груди — так надежнее.

Нередко на улице или при разговоре с людьми рука ее сама тянулась к карману. Но если старуха замечала, что на нее смотрят, она принималась усердно почесывать себя под мышкой. Однако через несколько минут рука опять, точно нечаянно, подбиралась к карману...

И вот что стряслось однажды с тетушкой Басмат.

Была пятница. После уборки двора, когда старуха по привычке, от которой не могла отучиться, поднесла руку к карману, она так и застыла с приложенной рукой к груди. На лице ее появилось выражение, какое бывает у человека, которого неожиданно схватил тяжелый сердечный приступ...

Маленького сатинового мешочка в кармане не было. Сперва тетушка Басмат сама себе не поверила. Однако, пощупав карман еще несколько раз подряд, остолбенела от изумления.

«Неужели пропал? — подумала тетушка Басмат. — Но как это могло случиться? Уж

не в другой ли карман я положила?» Рука судорожно полезла к другому карману и нащупала несколько монет, которые она отложила на расходы — не было только мешочка.

Старуха не могла прийти в себя. Она отлично помнила, что утром мешочек был в кармане, он был в кармане и во время уборки двора и улицы. Да, да, она это помнила хорошо.

— Но, может быть, я и ошибаюсь, наверное, я его оставила дома и забыла.

Ей показалось, что мешочек — под подушкой. С этой мыслью она, семена согнутыми в коленях ногами, прибежала домой, тяжело дыша, открыла огромный замок и влетела в комнату.

Прежде всего тетушка Басмат бросилась к изголовью кровати. Под желтой пропотевшей подушкой было пусто.

— Куда же он мог упасть?

Начала искать под матрацем: не завалился ли туда из-под подушки. Но когда тетушка Басмат осмотрела все и под матрацем, ею овладело отчаяние — мешочка не оказалось и тут.

«Уж не под кроватью ли он?» — эта мысль показалась тетушке Басмат настолько вероятной, что она тотчас нагнулась, встала на колени, засунула голову под кровать и принялась вытаскивать оттуда старый изодранный чемодан, чайник без ручки и еще много разного барахла, но мешочка не было нигде.

— Куда же он мог провалиться? Удивительно! — повторяла тетушка Басмат, выти-

рая грязным платком вспотевший морщинистый лоб.

Потом ей показалось, что мешочек она выронила утром, когда убирала двор.

«Однако после уборки он был при мне», — подумала старуха, но все же обошла двор, улицу, обшарила все места, где стояла и проходила. Затем направилась к мусорному ящику — как знать, возможно, с мусором выбросила туда.

Уже много лет сюда сносили мусор со всех квартир, здесь он гнил, распространяя зловоние. Хотя и могла тетушка Басмат убедиться, что потеряла мешочек не здесь, однако, подобно каждому, кто теряет свое добро, она верила в возможность невозможного и все же пошарила в мусоре.

— Что случилось, тетушка Басмат? — спросил Рабо, который только что вернулся с работы.

Над горем не смеются. Но старуха не могла рассказать о своем горе из боязни, что ее осмеют на весь город. Ну кто поверит ей, бедной женщине, что она потеряла целое состояние? Скажут, что с ума сошла на старости лет. Поэтому недолго и размышляла, как бы половчее ответить любопытному парню.

— Да кто-то совок мой бросил сюда...

Искала она до самых сумерек. Мешочка не было нигде. Когда уже совсем стемнело, тетушку Басмат охватило такое отчаяние, какое испытывает голодный с больным зубом, усевшись перед вкусным пловом. С каждой

минутой отчаяние ее возрастало. Что делать, где искать? Ведь была же она уже везде и всюду, все, кажется, высмотрела. Наконец тетушка Басмат поискала и в печке: уж не там ли он? Нет, не там!

Усталая, убитая горем, не раздеваясь, она бросилась на кровать...

* * *

— Что-то тетушка Басмат проспала сегодня,— удивился сосед, обращаясь к жене.— Сходи-ка посмотри, что она там делает.

Женщина постучала:

— Тетушка Басмат, а тетушка Басмат, вставай, двор убирать пора!

Никто не отвечал.

Опять стучит женщина, а потом и сосед, но опять нет ответа.

Наконец всем двором с трудом открыли дверь и, войдя, нашли тетушку Басмат лежащей на полу. Старуха была мертва. А рядом с ней, среди разбросанных изодранных подушек и разного ненужного хлама нашли туго набитый деньгами маленький сатиновый мешочек. Все так и ахнули. А Рабо, приложив ладонь к щеке, удивленно воскликнул:

— Вай, мама! Зачем же она так жила?..





СВЯТОЙ МУЖ

Несколько лет назад жил с нами по соседству дядюшка Сосун. Да простит меня Бог, потому что я, нарушив адат, все же решил рассказать о человеке, давно умершем. Знаю, что на том свете не простят мне этот тяжкий грех, но что поделаешь, если у меня такой дурной характер и болтливый язык, что любая тайна так и рвется из меня, как птица из клетки.

Как говорят, да не знать вам его теперь! Но уверяю вас, не знать дядюшку Сосун вы не могли, ибо ежедневно, с раннего утра до самого вечера, он не покидал наших шумных торговых рядов. И если когда-либо вы покупали там редкую вещь, то непременно купили ее у дядюшки Сосун.

Не могу умолчать еще об одном его достоинстве: любил старый скупщик давать покупателям клятвы. И чаще всего клялся могилой отца, если чувствовал, что нашелся, наконец, стоящий покупатель.

Не без основания слыл он и человеком

сердобольным. После смерти сестры скупщик (да зачтет ему Бог это в добродетель!) привел в дом пятнадцатилетнюю племянницу, молчаливую и никогда не улыбающуюся. И хотя легла на нее вся домашняя работа (ах, да кто из нас не работает!), люди радовались за нее и воздавали хвалу дядюшке Сосун. И было за что, ведь не каждому выпадало такое счастье!

Жить бы и жить в этой полной чаше, расти на радость дядюшке Сосун. Ан нет, неблагодарная, не прожив и года, сбежала. Забрала свои пожитки — старое платье да изношенные туфельки — и ушла, оставив в недоумении горожан и в нескрываемой печали дядюшку Сосун.

Надо ли говорить, что это событие послужило поводом для новых пересудов. Одни говорили (чтоб языки у них отсохли!), что, мол, дядюшка Сосун приставал к девушке. И скажут же! Другие же больше сходились на том, что девушка не выдержала полуголодной жизни. Это в доме-то дядюшки Сосун? И как только языки поворачиваются говорить такое?! Да у него после обеда даже дворовая собака икала!

А соседки (да спасет вас Бог от их злых языков!), захлебываясь, рассказывали, что не раз были свидетелями, как дядюшка Сосун посылал на голову жены, больной и старой Сироти, все беды земные за то, что та раз в год позволяла себе какую-либо обновку. Ох эти сплетники! Да будь жизнь дядюшки Сосун прозрачна, как хрусталь, и чиста, как душа младенца, — и то бы говорили.

И добро, если бы только это. Ко всему еще добавляли, что дядюшка Сосун терпеть не мог старую Сироти, а она его не желала видеть. Так всю жизнь и прожили вместе, будто собака и палка.

Не знаю, как вы, а будь моя власть, я бы наказал этих сплетников за оскорбление старого человека.

О, простите! Я проговорился — дядюшка Сосун вовсе не был стар, хотя ему было за шестьдесят. Глядя на черную как смоль полукруглую бороду да завидную энергию, трудно было поверить, что у скупщика уже взрослые внуки.

Да что там толковать...

Однажды направился я к дядюшке Сосун за покупкой. Шел я, как человек, который давно уже знает куда и к кому идет. Но был крайне удивлен, когда скупщика на месте не оказалось. Куда же, думаю, он девался? Не перешел ли на другое место?

Стал искать. Но убедившись, что найти дядюшку Сосун невозможно, что он пропал, как известная игла Шолума-портного, я направился в конец торговых рядов, где сидел обычно старый перс, продававший «тысячи мелочей», без которых не обходится ни одно хозяйство.

— Дядя Гофор, — спросил я его, — вы не видели дядюшку Сосун?

Старик вдруг так удивленно на меня посмотрел, будто я, как Шемей-нюгдинец, вернулся «с того света».

— Ты что, из Касумкента? — спросил он меня.

— Нет,— говорю,— коренной житель Дербента.

— Не может быть! — отвечает старый перс, но вижу, что глаза его смеются.

Я знал, что персы, не лишенные чувства юмора, любили и понимали шутку, и поэтому, ожидая новых известий, улыбнулся.

— О сын мужчины! — сказал старый Гофор.— Как же ты, будучи дербентцем, не знаешь, что дядюшка Сосун после смерти своей жены, Сироти, лежит дома тяжело больной? Вот уже два месяца...

Я был крайне удивлен, как же так, думаю? В тот день после похорон дядюшка Сосун вместе со мной живым и здоровым вернулся домой. Даже волосок с его головы не упал. Правда, понервничал, когда сыновья наперекор отцу положили в могилу ее гобо (перед смертью мать завещала детям сделать это). И потому дядюшка Сосун тихо пробормотал тогда, что, мол, если продать гобо — тоже были бы деньги.

Э-э, думаю, у этих торговцев и за деньги правду не купишь, поищу-ка я еще дядюшку Сосун. Не поверил я старому персу. Обошел еще раз торговые ряды, заглянул в каждый угол и, убедившись, что скупщика нигде нет, прямо направился к нему домой.

И что же? Своим глазам не поверил. Лежит дядюшка Сосун желтый, как спелая айва, кости так и торчат из его тела. И лицо прячет, словно боится в глаза глянуть. Некоторые

полагали, что заболел дядюшка Сосун из-за смерти жены, мол, тяжелое нервное потрясение. Другие же больше сходились на том, что все это обман, видимость, что скупщик и не думал болеть. Словом, пошли пересуды...

Но дело, конечно, было ни в том, ни в другом. Дядюшка Сосун заболел совсем по другой причине...

Простите меня, люди. Теперь, когда прошло много лет, я решил раскрыть эту тайну.

...Через несколько дней после смерти жены приснилась дядюшке Сосун в белом одеянии, как привидение, Сироти.

— О мужчина! — обратилась она к мужу. — Как это ты согласился положить в мою могилу новое гобо?

— А что случилось? — спросил в свою очередь дядюшка Сосун.

— Знаешь что, — ответила Сироти, — теперь не стану скрывать от тебя. Под поясом гобо я спрятала золото и забыла сказать тебе. Только смотри, чтобы никто об этом не знал...

— О, женщина! — крикнул дядюшка Сосун, намереваясь спросить ее еще о чем-то, но Сироти внезапно исчезла.

Проснулся скупщик от собственного крика. Он приподнялся и, свесив длинные тонкие ноги, уселся на кровати, испуганно озираясь по сторонам.

— Тьфу, харамзаде! — опомнившись, тихо выругался дядюшка Сосун. — Эта змея как при жизни, так теперь и после смерти мне покоя не дает!

Уже в третий раз снилась жена спящему

скупщику. А у татов есть поверье: если человеку трижды приснится один и тот же сон, он сбудется.

Эта мысль взбудоражила дядюшку Сосун, и от волнения в горле у него пересохло. В нижнем белье он подошел к большому глиняному кувшину напиться. Но, задумавшись, остановился.

— Как это, в самом деле, я мог потерять голову? Подсказывало мне сердце, что не следует оставлять гобо в могиле... Потерял золото...

Забыв о воде, дядюшка Сосун снова сел на постель.

— Вот ведьма! — обозленный на жену, произнес он. — Зачем было золото в гобо прятать? Хотя бы перед смертью призналась, нечестивая. Благодарю тебя, Бог, что создал меня не женщиной! — Прочитав молитву, дядюшка Сосун провел ладонью по лицу. — Просто не знаю, что теперь и делать... Рыть могилу нельзя. Не могу же я нарушить обычай предков. Да и люди не простят мне этого, скажут: «Чтоб без бороды он остался, мертвая еще и остыть в земле не успела, а он могилу вырыл». Нет, нет, ни за что.

Дядюшка Сосун снова задумался.

— А если оставлю золото там?.. Те же люди, узнав, дураком меня назовут. Слава Богу, меня еще никто так не называл и, если будет воля Всевышнего, не назовут. Как же быть? — размышлял снова и снова дядюшка.

От захвативших его дум дядюшка Сосун всю ночь не сомкнул глаз. И, наконец, задолго

до рассвета, не выдержав переполнивших его мыслей и дум, вышел на тихую, безлюдную улицу. Да и кто мог быть на улице в такой ранний час?! Спали все, даже страдавшие бессонницей петухи и злые собаки.

И подобно лунатику, дядюшка Сосун оказался у чайной.

— Сосун! — удивился чайханщик. — Каким ветром тебя занесло в такую рань? Я еще и чай не успел заварить.

— Не спится что-то, — задумчиво ответил скупщик.

Поняв состояние дядюшки Сосун по-своему, чайханщик стал его успокаивать:

— Не волнуйся, друг. Ну, умерла жена... Все мы в этом мире гости.

Дядюшка Сосун молчал.

Утром, покинув чайхану, он по привычке пошел к торговым рядам, оттуда в городской парк, но не мог скупщик забыть вчерашний сон. Он захватил его всего, как в тиски, не давая покоя ни на час.

В полдень, когда спрятаться от палящего солнца было невозможно, дядюшка Сосун вернулся домой. В эту минуту невестка накрывала на стол, разложила тахту, зная, что свекор любит после обеда час-другой поспать.

Но есть дядюшка Сосун отказался. Он думал. И думы уносили его не в заоблачные выси, а в мир самых будничных дел. «Пенсию государство мне не даст, — размышлял он, — ибо за всю жизнь так нигде и не поработал. На перепродаже тоже теперь много не заработаешь...»

Размышления дядюшки Сосун прервала невестка, снова предложившая ему поесть. Но то ли он не понял ее, то ли думы привели его к грустному итогу, настроение скупщика испортилось, и весь мир, казалось ему, был настроен сейчас против него.

«Теперь,— думал про себя дядюшка Сосун,— если дети захотят, я буду кушать, если нет — ходи голодный. Посчитают нужным купить мне рубашку, купят, а нет...»

Дядюшка Сосун горько улыбнулся.

«А если у меня будет золото,— продолжал он развивать свои мысли,— я ни от кого не зависим. Живи как хочешь, ты — хозяин самому себе! И если после смерти под моей подушкой найдут немного золота, люди скажут, что не напрасно Сосун жизнь прожил...»

Эти мысли не давали ему покоя, он не находил себе места.

«А если меня кто-нибудь увидит на кладбище? — мелькнула новая мысль у него в голове, как внезапная вспышка молнии.— Нет, нет, я не пойду на это, если там даже мешок золота... А кто, в самом деле, меня увидит среди ночи? — успокаивает себя дядюшка Сосун.— Ночь темна, люди спят...»

Скупщик снова задумывается.

Ночь проплывала без шума, словно знала о думах дядюшки Сосун. Кто знает, сколько дум передумал за эти часы старый скупщик. Одному Богу известно.

...Было уже за полночь, когда дядюшка Сосун с лопатой на плече, крадучись, словно

вор, вышел со двора и торопливо направился на кладбище.

В тихую ночь под звездным небом могильные камни походили на замерзших людей. Город давно уже крепко спал. Ни голосов, ни огней. Кое-где одиноко лаяли собаки. Бесшумно шептались засохшие листья. Дядюшка Сосун остановился у могилы жены, напрягая слух и зрение.

Ни души. Да и кому быть здесь в такую позднюю пору, кого потянет ночью на кладбище? Дядюшка Сосун еще раз осмотрелся, взглянул на могилу — от палящих лучей солнца земля высохла и потрескалась.

Нерешительно, колеблясь, он то отходил, то снова подходил, крепко сжимая в руках лопату.

Вот он опять у могилы.

И через несколько минут скупщик рыл ее.

Работал он усиленно, напряженно, а когда лопата его стукнулась, наконец, о доску, он глубоко вздохнул, начал рыть с удвоенной энергией. И вот осталось земли только пальца на три, подхватывая ее лопатой, дядюшка Сосун осторожно отбрасывал комья.

Схватив за конец доски, скупщик поднял ее, но от вырвавшегося тяжелого запаха чуть не потерял сознание. Обессиленный, прислонясь к могильной стене, в холодном поту, дядюшка Сосун стоял, приходя в себя.

И в тот момент, когда он, затаив дыхание, нагнулся и вытащил из-под могильных досок гобо, кто-то крепко, двумя руками схватил его за плечи. Дядюшка Сосун замер. Ему показав-

лось, что это какой-то мертвец или же сам ангел смерти пришел за его душой — словом, он в руках смерти. Но смерть молчала. Страх охватил скупщика, он обессилел. И вдруг он издал страшный крик и с таким отчаянием вырвался и вылез из могилы, что, забыв о шапке и пиджаке, бросился бежать.

Кладбищенский сторож сначала хотел было догнать бежавшего как заяц скупщика, но потом, захватив пиджак и шапку ночного пришельца, пошел в сторожку.

В тревоге дядюшка Сосун уже ни о чем не помнил — ни о золоте, ни о доме, ни о самом себе. Одна только мысль пронзала его мозг, и он леденел от ужаса: вот-вот его схватят...

С того времени и заболел дядюшка Сосун. Не мог простить себе содеянное. Страдал от мысли, что никому не может открыть своей тайны.

И наконец, не выдержал, однажды подзвал к себе сына:

— Подойди, сынок...

— Что, отец? Что тебе нужно? — заботливо откликнулся сын.

Но дядюшка Сосун снова, подавив в себе желание, устало проговорил:

— Ничего, сынок, ничего...

Много людей приходили провести в эти дни дядюшку Сосун: многочисленные родственники, знакомые, друзья, и каждый, по своему понимая состояние скупщика, советовал:

— Что ты, в самом деле, как маленький все равно. Ну умерла жена — Богу было угодно.

Все мы в этом мире гости. Выкинь из сердца, легче станет...

Дядюшка Сосун терпеливо слушал и молчал.

Через три месяца скупщик умер.

Вам ли рассказывать, что на похороны таких людей, как дядюшка Сосун, народу собирается много. Так и в тот день: яблоку негде было упасть. А одна женщина, вся в черном, со слезами на глазах говорила:

— Не перенес, сердечный, утрату жены, и трех месяцев не прожил... Святой муж.





Нисим, кладовщик базы «Снабсбыт», — крупный крепыш с круглой с проседью головой, мясистым носом и толстыми вывернутыми губами — на закате дня, удобно усевшись дома за стол, в добром расположении духа приготовился к трапезе. Не спеша он налил из четверти в хрустальный бокал сухого вина домашнего выжима, с удовольствием потер друг об друга огромные пятерни и, взяв с тарелки кусок свежезажаренного кутума, отправил его в рот. Потом жадно, алчно, засунул туда же кусок тандырного чурека, предварительно скомкав, почти пучок петрушки и одним броском залил все это сухачом.

Жевал он неторопливо, обстоятельно, с наслаждением, сочно чмокая и нечленораздельно выражая блаженство. И когда, наконец, утроба Нисима вместила тарелку хрустящей жареной рыбы, свежеиспеченный чурек, бесчисленное количество зелени и почти всю четверть сухого вина, он осоловело, с бессмыс-

ленным блеском в глазах, посмотрел на сидевших рядом сына и его товарища, и больше от избытка утробной силы, нежели от внимания, икая, весело спросил:

— О чем кукуете, дети мои, отцу знать можно?

— Вот думаем, куда поступать,— разводя руками, ответил сын,— школу ведь окончили...

— Ну, и... и что решили? — снова икая, спросил Нисим.

— Я предлагаю в сельскохозяйственный, а ваш сын — в педагогический,— ответил за сына товарищ.

— Ну и дурак,— беззлобно, но твердо и убежденно сказал Нисим, ковыряя в зубах.— Агроном-магроном, учитель-мучитель! Разве это специальности? Вы, слава Богу, не слепые, на ваших глазах этот твой учитель пирожками торгует, а агроном, так сказать, сеятель наш и служитель, тоже за прилавком стоит. Почему, как вы думаете? Соображать надо, не маленькие. Вот, возьмите меня,— оживился Нисим,— далеко ходить не надо. Чего греха таить, сколько мне пришлось потратиться — одному Богу известно, но кооперативный техникум я все же одолел, вас, шестерых, вырастил, выучил, есть во что одеться, что поесть, да и на черный день есть, слава Богу. А ты: учитель... Тьфу! — Нисим выплюнул, наконец, застрявший в зубах кусочек рыбы.— По мне, так только в торговый, и никуда иначе...

Нравоучение и жизненное кредо кладов-

щика несколько ошеломили молодых людей, и потому установилась неловкая тишина.

— Не помню, дядя Нисим, но где-то читал я... в какой-то стране попавшимся вора на руке клеймо выжигают, так их после этого никуда не принимают...— словно об этом и шел разговор, неожиданно сказал молодой гость.

— А при чем здесь это? — возмутился Нисим.— У вас еще молоко на губах не обсохло, чтобы иметь право говорить мне такое,— еще больше распалялся хозяин.— Харамзаде! Правдолюбцы, видите ли... У нас, слава Богу, таких глупых законов нет! Каждый живет как может: не пойман — не вор, и ни один подлец, в таком случае, не имеет права тебя вором назвать!.. Начитались каких-то пустых книжек и думают, что они уже пуп земли. Недаром говорят: «Буйволица отелится — никто не узнает, а о том, что курица яйцо принесла,— всей махале станет известно». Вам, молодым, жизнь кажется сплошным праздником, песнями да плясками...— Нисим развел руками, будто показывал танец.— Нет, это совсем не так. Жизнь — мельница, вот когда вас перемелют ее жернова, как следует придавит вас, вот тогда я посмотрю, как вы запоеете...

Потом, заметив смущение молодых, Нисим смирил порыв своей неожиданной вспыльчивости (на людях он был образцом терпеливости и почитания), несколько успокоился и назидательным тоном заявил:

— Верьте моему опыту, дети мои, я немало

повидал на своем веку. Высокие устремления, патетика слов и малиновый звон мечтаний легко улетучиваются, если этого «звона» нет в кармане... Вот вам один пример. Каждое утро, встречаясь, мы говорим друг другу: «Себэхь туь э хайр бу!» Что это означает? «Да будет утро твое с доходом!» С доходом! С деньгами! Это не я выдумал, а тысячелетний опыт народа...

Удовлетворенный своей назидательной речью, он блаженно зевнул и умиротворенно произнес:

— У кого деньги, тот и пан! Ну а теперь спать, утро вечера мудренее...

Нисим медленно, тяжело встал, удовлетворенно погладил большой круглый живот и направился в спальную комнату.

Спал Нисим, сотрясая ночную тишину могучим храпом, и снился ему сон...

После работы по дороге домой, по установившейся привычке, он зашел в будку телефона-автомата и позвонил жене. Та ответила, что дома все в порядке, если не считать, что неизвестно почему минут пять назад за ним приходил милиционер. Сердце Нисима екнуло. Охваченный тревогой, он вышел из будки и тут же увидел «того» милиционера. Он шел навстречу, а в руках его была, словно включенный, ручной фонарь, большая штемпельная печать.

«Вот и конец! — побледнев, подумал кладовщик. — Застукали!»

И первое, что пришло ему на ум — бежать, бежать куда угодно, хотя бы на край света, но

только миновать беду, не дать выжечь на руке это ненавистное клеймо.

«Но кто же мог это сделать, кто выдал?» — снова, заметив своего преследователя, подумал Нисим, на ходу перебирая в памяти всех работников базы, одного за другим пропуская через решето своих подозрений. Но так и не нашел виновника своих несчастий. И по мере того как он осознавал весь ужас своего положения, им овладевал беспредельный страх, отчего леденел мозг и стыла кровь в жилах.

На какую-то секунду сознание вернуло его к реальной действительности, и кладовщик невольно подумал: «Куда же бежать?..» «Как куда? — тут же спросил Нисим себя и сам ответил: — К завскладу, конечно к нему, ведь не мне одному оставалось ворованное, и ему часть перепадала, и большая часть. Пусть находит выход, а иначе и ему не миновать этой самой печати, «благодетель», — злорадно подумал кладовщик и, тяжело дыша, еще быстрее понес свою жирную тушу.

Но преследователь, несмотря на все ухищрения кладовщика, нагонял его. Бежать у Нисима уже не было сил. Каким-то шестым чувством он ощущал прерывистое дыхание своего преследователя, слышал его предупреждающие выкрики, злорадно поворачивался, грозил ему кулаком и показывал язык.

Вот наконец и особняк завсклада. Нисим торопливо, что было сил, постучал в ворота. Ждать пришлось недолго. Нисим, спрятав-

шись за воротами, бледный, весь потный, коротко, в нескольких словах, объяснил о грозившей ему опасности и не забыл намекнуть, что такое же клеймо может оказаться и на его руке.

Хозяин сильно побледнел. Сначала испуганно, нечленораздельно, а потом внятно заявил Нисиму, что тому надо бежать к директору базы.

— Ты что думаешь, твои «взносы» мне одному остаются? — Он горько усмехнулся. — Я и директору даю... Так что беги к нему... Если не хочет влипнуть в эту историю, пусть помогает, у него там, наверху, есть свои люди...

Преследователь, потеряв сначала Нисима из виду, на несколько секунд опешил, но, заняв наиболее выгодную позицию, стал ждать.

Нисим тем временем, ожидая, что его здесь и застукают, выглянул за ворота и, не увидев милиционера, побежал в темноту. Однако скрыться не удалось, и снова началось преследование. Бежал кладовщик, проклиная несчастную судьбу, на чем свет стоит клял своих благодетелей, презирал свою ненасытную утробу, свое тучное тело, которое вот сейчас, в этот критический миг его жизни, мешает ему скрыться, спрятаться, не попасть в руки безжалостного преследователя.

Сил бежать уже не было. Сейчас, через несколько секунд, его схватят — и тогда... Нет, до директорского дома не добежать. Нисим стал задыхаться. «А куда еще и дирек-

тор пошлет? Может, к председателю, а может, к самому секретарю?..» — безнадежно подумал кладовщик и остановился.

Его схватили и без всяких церемоний, как преступнику, поставили на верхнюю часть кисти руки горячее клеймо, отчего Нисим зверино заорал и потерял сознание...

Проснулся Нисим от собственного крика и, заметив озабоченную жену у своего изголовья, испуганно спросил:

— Что со мной, я живой?

— Что с тобой, Нисим? — говорила удивленная жена. — На тебе лица нет, весь в холодном поту. Врача вызвать?

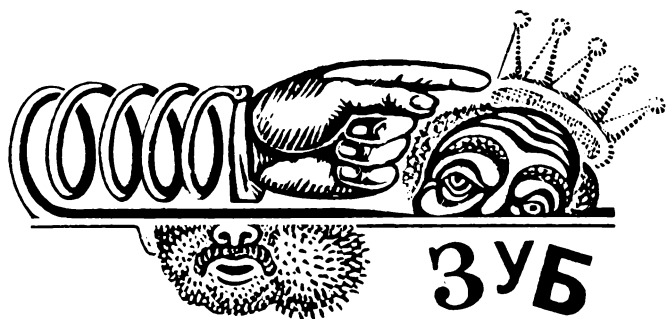
Убеждение, что это сон, что все страхи позади, придали Нисиму силы, и он облегченно вздохнул:

— Да, кажется, живой. Ну и дела-а...

Заснуть снова Нисим уже не смог. Так до утра, с открытыми глазами, он пролежал в постели, вспоминая напугавший его сон. Он вдруг четко увидел своего преследователя и узнал в нем знакомого участкового милиционера, которому по давно установившейся традиции давал ежемесячную взятку.

«И этот подлец меня так напугал... — с улыбкой подумал кладовщик. — Приснится же такое...»





Говорят, каждый кулик свое болото хвалит. Но честное слово, не похвалить свой городок я не только не могу, но просто-напросто не имею права. Он красив. С востока его омывает искрящееся под лучами солнца море, с запада прикрывают сохранившие на себе памятники седой старины горы, а с двух других сторон окружили город богатые сладким янтарем виноградные плантации.

Городок наш еще и маленький, и нет в нем тайны, которая бы за короткое время не становилась достоянием всех. Да и может ли быть иначе, если женщины наперечет знают родословную сотни семей, а о рождении и смерти уже через десять минут известно во всех его концах.

Вот почему не было секретом и то, что у директора завода Нахшуна Савиевича Шафадова разболелся зуб. Скажите, пожалуйста, что здесь особенного, и кто из нас хотя бы раз в жизни не испытал эти муки? А вот

о зубной боли Шафадова уже через полчаса знал весь город.

Справедливости ради следует сказать, что дело здесь не в зубной боли директора завода, а в нечто другом...

В понедельник, когда Нахшун Савиевич вернулся с работы домой, он в полном здравии в кругу своей семьи приготовился к вечерней трапезе. И в тот момент, когда он подносил к губам рюмку с коньяком, ему показалось, что кто-то вероломно, исподтишка, шилом проткнул его зуб. Вначале он скривился от острой боли, затем, выпучив глаза, схватился за щеку. Глаза Нахшуна Савиевича, и без того чрезмерно выпуклые (за что его тайно прозвали Лупатым), сейчас вообще вышли из орбит.

С каждой минутой боль усиливалась, вызывая у Нахшуна Савиевича жалобный стон, а затем низвергла его в постель. Однако в лежащем положении ему стало еще хуже, и и он, стеная и скуля, стал ходить по комнате взад и вперед, как маятник. В ход были пущены все известные в семье методы лечения: больной зуб обкладывали намоченной одеколоном ватой, потом в раскрытый рот засыпали пепел сожженной газеты, однако боль не исчезала.

В самом деле, разболелась голова — прими пирамидон, отдохни — и боли как не бывало, или, скажем, разболелся живот — капли можно принять. Но зуб... к нему никак не подберешься. Недаром, когда хотят кого-то наказать, говорят: «Дай тебе Бог сто лет

жизни и семьдесят лет зубной боли». Большой зуб — это... о-о-о!

Нахшуну Савиевичу казалось, что кто-то, ухватившись клещами, тянет из него жилы, вырывает из рта челюсти, как при чистке свежей рыбы рвут и вытягивают из нее жабры. Всю ночь Нахшун Савиевич не сомкнул глаз. Видя, как мучается глава семьи, не могли заснуть и домочадцы. К утру щека его распухла и лоснилась, как свежее испеченный тандырный чурек. Однако боль продолжалась и вынудила Нахшуна Савиевича завязать платком щеку и, чуть пошатываясь от бессонной ночи, направиться в поликлинику.

Домой Шафадов возвратился в самом радужном настроении, как человек, с которого только что сняли непосильную ношу. Успокоенный и утомленный тяжелой проведенной ночью, его потянуло ко сну, и он было собрался уже лечь отдохнуть, как вдруг зазвонил телефон.

— Нахшун, дорогой, привет! Как чувствуешь себя? Как?.. Новорожденным? Ну и хорошо... Что? Откуда узнал? От своей половины, она в поликлинике работает. Будь здоров, вечером загляну.— Это звонил друг, которого Шафадов знал еще со школьной скамьи.

Настроение Нахшуна Савиевича сразу поднялось. Приятно, когда друзья помнят о тебе. И хотя опухшая щека все еще давала о себе знать, да слегка все еще побаливал зуб, Шафадов, довольный, улыбнулся. И в самом

добром расположении духа направился к дивану. Однако снова зазвонил телефон.

— Нахшун Савиевич?! Вам личное письмо из министерства... А как ваш зуб?.. Нет, никто не звонил. До свидания! — скороговоркой проговорила молоденькая секретарша директора.

Шафадов был удивлен космической скоростью, с какой распространилась весть о его зубе за какие-то полчаса после возвращения из поликлиники. «Надо же! — подумал он. — О моей зубной боли уже и на заводе знают, беспокоятся... У одних и смерть проходит незамеченной, а моя зубная боль за полчаса обошла чуть ли не весь город... Значит, уважают... Однако что это за письмо?..» — вдруг вспомнил он, и смутная тревога охватила его...

Дела на заводе шли из рук вон плохо: производственные планы не выполнялись, при высокой себестоимости качество выпускаемой продукции оставалось низким. В последний раз в министерстве ему недвусмысленно заявили, что руководитель он плохой и что в ближайшее время пусть ждет замены.

«Неужели все?.. — с тревогой подумал он и, не выдержав напряжения от горьких мыслей, не обращая внимания на распухшую щеку, торопливо прибежал на завод и направился к себе в кабинет. На изумрудной глади настольного стекла лежало «личное» письмо. Нахшун Савиевич уже с порога не отводил от него глаз. Сердце трепетно билось, как у испуганной у водопоя газели. Он разорвал

конверт и торопливо развернул лист... Оторвавшись от письма, Шафадов обмяк, побледнел пуще прежнего и медленно сел в кресло. Как-то непривычно защемило сердце, и к нему снова вернулась зубная боль...

Надо ли говорить, что не успеет еще Нахшун Савиевич дойти до дома, как весть о его замене облетит весь город...

Вечером того же дня, одолеваемый горькими думами о навалившейся на него беде и со все еще продолжавшейся зубной болью, Шафадов, приложив платок к опухшей щеке, вышел на улицу. На душе было тяжело, ему надоело уединение, и он готов был в эти минуты излить все наболевшее в душе первому встречному и хотя бы таким путем найти облегчение.

И будто счастье улыбнулось Шафадову, ему навстречу шел экспедитор завода — всегда такой услужливый молодой человек, который, завидев директора еще за версту, мчался навстречу, с улыбкой и доброжелательностью крепко жал руку, расспрашивал о житье-бытье и всегда благодарил неизвестно за что. Шафадов был рад этой встрече и готов первым приветствовать экспедитора, остановился и стал ждать его приближения. Но... тот прошел мимо него, бывшего еще сегодня директором, сделав вид, что не заметил Шафадова.

Нахшун Савиевич горько улыбнулся, хотя вместо улыбки на лице его явилось такое выражение, словно он набрал в рот чего-то горького, покачал головой и зашагал дальше.

Однако через несколько минут с противоположной стороны улицы ему навстречу прыгающей походкой шла его секретарша: красивая, молодая, всегда излишне накрашенная. Шафадов остановился, попытался улыбнуться приближающейся к нему секретарше, однако и она, как и всегда услужливый молодой человек, отвернулась и прошла мимо, словно и не было никакого Нахшуна Савиевича.

А мне, свидетелю этой истории, было жаль Шафадова и хотелось крикнуть этой юной карьеристке: «Ах девушка, девушка! Где же ваше милосердие, ведь зуб-то у него все-таки болит!»





В гостинице, как всегда, мест не оказалось. Беспокоить знакомых в полночь не хотелось, и я решил пойти к морю, тем более что стояла душная июльская ночь. Я уж было ухватился за дверную ручку, чтобы выйти, как встретился взглядом со швейцаром гостиницы.

— Ба, дедушка Офтум! Вот это да, здравствуйте!

— Здравствуй, сынок,— улыбнулся старик,— признал-таки...

— Сколько лет, сколько зим... как Шурка? — невольно вырвалось у меня.

— Шурка? — угрюмо переспросил дед и, опустив голову, тихо добавил: — Нет Шурки...

* * *

Я не впервые в этом красивом южном городке, что амфитеатром расположился у подножия Кавказских гор. Я бывал здесь мальчишкой, много лет назад — сразу после

войны, когда проезжающие поезда оставляли на широком перроне вокзала незнакомых людей. Сюда, в этот нетронутый войной уголок, стекались они, чтобы забыть прошлое, дать отдых изболевшимся сердцам.

Вот тогда, после войны, на одной из пыльных от зноя улиц я впервые увидел четырнадцатилетнего мальчика, Шурку. Худенький, бледный, он бы ничем не отличался от своих сверстников, переживших голод и муки лихих годин, если бы не глаза, в которых было столько тоски, что ее, казалось, могло бы хватить на целый мир.

Вел себя Шурка странно: дышал, будто всхлипывал, как это бывает с детьми после продолжительного плача, а услышав звонкий смех, он вдруг останавливался, вытягивался в струнку, да так, что на тоненькой шее набухали вены, и кричал:

— Нет! Не скажу! Ма-а-ма-а!

Давно это было. Мы тогда не знали, почему этот мальчик не любил громкого смеха и отчего он вызывал в нем такую реакцию.

Я бы так ничего и не узнал, если бы не старый Офтум...

Леса белорусские... На сотни километров тянутся они, сливаясь с горизонтом, и теряются в неоглядных далях. Широко раскинулись ели и гордые сосны в темно-зеленых шапках.

Вокруг все расцвело, зазеленело, птичий гомон и щебет наполнили лес, да невдомек пернатым, почему вот уже третье лето и днем и ночью выстрелы нарушают их неугомонное пение.

На небольшой поляне, усевшись на кочке, двенадцатилетний Шурка собирал цветы. Были здесь ромашки, незабудки и колокольчики. Мальчик тосковал по дому. Скоро год, как он не видел родных. Погруженный в свои мысли, мальчик не заметил, как к нему подошла радистка партизанского отряда.

— Пойдем, Сашок, командир вызывает.

— А зачем?

— В село пойдешь...

— Правда?! Вот тебе за это! — И мальчик, отдав радистке букет, побежал на командный пункт.

Командир недолго держал его в землянке.

— В наше родное село прибыли немцы. Надо узнать, сколько их и какое у них вооружение, дед тебе все скажет...

Шурка встал...

— Иди.— Командир крепко обнял мальчишку.— Будь осторожен. У села дежурят патрули.

...Ночь выдалась тихая, безлунная. Шурка шел знакомой тропой и скоро вышел на дорогу. Вдруг слева вспыхнул и погас желтый огонек. Мальчик поспешно ушел в кусты и замер.

Где-то рядом прозвучала немецкая речь. Шурка сообразил, что это патруль. Значит, недалеко родное село.

Когда стихли шаги, мальчик перебежал большак и на рассвете был уже у цели.

На отшибе — родной домик с маленьким садиком. Тревожно забилося сердечко: «Как там мама, дед?»

В сенях послышался шорох, сухо, точно затвор винтовки, щелкнул дверной засов. На крыльцо вышла женщина.

— Мама!

— Сыночек, родной мой!

Шурка бросился к матери, уткнулся лицом в грудь...

Уже совсем рассвело, когда сильный стук в дверь поднял всех на ноги. Кто-то ломился в дом и властно требовал:

— Открываль!

— Немцы! — глухо произнес дед.

...Юного разведчика арестовали, а вместе с ним увезли мать и деда. Все произошло случайно: мальчика заметил полицай, который на рассвете возвращался с гульбы. Жалкий трус, дезертировал в первые же дни войны. Полицай знал, что старший брат Шурки в соседних лесах командует партизанским отрядом, но все его старания узнать расположение отряда были тщетны. «Вот это удача!» — подумал предатель и побежал к немецкому офицеру...

День выдался нежаркий. Сквозь густую сетку облаков робко пробивалось солнце. Арестованных вывели на широкую площадь. Солдаты согнали сюда всех жителей села.

Шурка стоял изодранный, избитый, с кровоподтеками на лице, а рядом — коротконогий грузный офицер с крючковатым носом и большой головой на тонкой шее, которая вращалась по-птичьи, во все стороны.

— Кто послал тебя сюда? — спросил он по-русски, почти без акцента.

— Никто, я все время жил в селе.

— Врешь! Тебя послали партизаны! Где они?

Шурка молчал. Офицер подскочил к нему, размахнулся и костистым кулаком ударил по лицу. Тонкими струйками потекла по лицу кровь.

— Ты у меня заговоришь, щенок!..

Он что-то приказал солдатам. Те отвели деда к забору и направили на него дула винтовок.

— Ну-с, теперь ты скажешь?

Шурка молчал. Дед гордо выпрямился, строго взглянул на внука и отрицательно покачал головой.

— Стреляйте, звери! Будьте вы прокляты!

Раздался выстрел, и старик упал на землю. Офицер громко, заливисто смеялся:

— Ха-ха-ха-а-а!

Этот дикий смех раздавался в ушах Шурки. Мальчик рыдал, маленькие плечи его тряслись. Плакали люди.

— Ты, конечно, окажешь нам услугу,— снова заговорил офицер.— Мы не станем убивать твою маму...

Шурка вдруг сорвался с места и с возгласами: «Мама! Мамочка-а-а» — побежал к матери. Но здоровенный солдат подставил ногу, и Шурка, дважды кувыркнувшись, растянулся на земле. К матери приблизился офицер. Он что-то негромко сказал ей. Женщина отвернулась, взглянула на сына и, сжав кулаки, громко крикнула:

— Молчи, сынок! Слышишь!..— Она по-

вернулась лицом к солдатам. Глаза ее отчаянно блестели, губы дрожали.— Убийцы! Придет час, и вы заплатите кровью!

Шурка вскочил, вытянулся и закричал:

— Нет! Не скажу. Мапочка-а-а!

Винтовки взлетели на уровень плеч. Офицер опустил руку. Дважды, один за другим, раздались выстрелы.

Точно ветер, пронесся по толпе тяжелый стон. Шурка слегка качнулся, ноги подкосились, и он упал затылком на серый валун.

— Убить этого щенка! — злобно приказал офицер.

В полумертвого Шурку выстрелили...

Чудом уцелевшего, полуживого мальчика на рассвете нашли освободившие село партизаны, а неутомимый разведчик Офтум выхаживал его и в надежде вылечить привез в наш городок к себе домой...

* * *

Я снова хожу по красивым улицам этого полюбившегося мне городка, снова слышу звонкий радостный смех, и как хорошо, что детям не за что не любить смех...





Фомка, легавый кобель с большой белой меткой на лбу, заболел. В помутневших роговицах глаз появились гнойные язвы, беспрестанно слезились глаза, будто оплакивал Фомка нежданно налетевшую на него беду. Признав у собаки запущенный телязиоз, ветеринар заявил хозяину, что в скором времени Фомку ждет слепота.

Уже много раз его оставляли дома. Вначале Фомка обижался и отказывался от пищи, тоскливо ожидая возвращения хозяина. Потом все же примирился, но надежды, что о нем еще вспомнят, не терял.

Вот и сегодня, когда хозяин собирался на охоту, Фомка смотрел на него полными надежды печальными глазами, прыгал возле него и ласково визжал, ожидая, что уж на этот раз его не оставят. И будто чувствуя это, хозяин, как в былые времена, посадил Фомку рядом с собой в машину и всю дорогу, задумчиво поглядывая на него, молчал.

Усыпить Фомку он все же не решился. Да

и как, заключил хозяин, не он же дал Фомке жизнь, чтобы ее отнять. Вот потому он и везет Фомку в лесную глушь, чтобы там навсегда оставить эту преданно служившую ему полуслепую собаку.

...Невольно нахлынули воспоминания. Однажды вот в такую же туманную весеннюю пору, потеряв дорогу, он оказался на краю обрыва, и Фомка, схватив за полу бушлата, спас ему жизнь, не дав тогда сделать последний шаг в бездну. Другой раз из тлевого болота, весь израненный и обгоревший, Фомка принес подбитую дичь, чем привел в восторг товарищей.

Да разве можно обо всем вспомнить...

Оставив машину у лесной опушки, хозяин, долго петляя и минуя хоженные тропы, вел Фомку в самую глухомань, где, быть может, раньше и не ступал человек. Потом старым красным шерстяным шарфом завязал Фомке глаза, дал что-то понюхать, от чего тот сразу чихнул, и отпустил повод...

Фомка прыгал, тихим радостным лаем звал. Ему нравилась эта игра, в которую никогда раньше хозяин с ним не играл. Он больно ударялся о стволы деревьев, до крови исцарапал тело, но, несмотря на все это, высунув язык, весело бегал и искал...

И когда вконец измученный Фомка смог сбросить с глаз эту надоевшую повязку, ему открылась страшная картина: в нескольких шагах, прямо перед ним, жадно, алчно расправлялся со своей добычей матерый волк. Недоумение охватило Фомку: где хозяин, как

он сам оказался здесь? И Фомка стремглав бросился бежать, бежать назад, где, как ему казалось, его ждал хозяин. Но того не было. В отчаянии он бежал на каждый звук леса, долго блуждал, обессилел. И тогда, собрав весь запас своих сил, Фомка громко залаял, будто умолял не оставлять его...

Потом, почувствовав боль, сел, облизывая засохшие раны. Но изредка поднимал отяжелевшую голову и, тяжело дыша, смотрел по сторонам. Не верил Фомка, не принимало его собачье сознание, что его бросили.

Он ходил взад и вперед, садился и задумчиво смотрел в одну точку. Кто знает, может быть, в эту минуту Фомка вспоминал свою прошлую жизнь...

Вдруг где-то рядом раздался сухой, резкий треск, и Фомка снова, забыв об усталости, побежал на поиски...

Осенью того же года, когда охотник, утомленный, возвращался домой, ему навстречу из чащи, счастливо визжа и лая, с всклокоченной шерстью, весь в кровотокающих и гноящихся ранах бежал белолобый кобель.

Хозяин узнал его. А Фомка прыгал от радости, жарко облизывал высохшим языком охотнику руки, сапоги, а гниющие глаза его будто говорили о тяжких муках одиночества и бесплодных поисках, и о вере...

Да, верил Фомка, верил, что его найдут, и вот, наконец, дождался.

Охотник, не обращая на него внимания, продолжал идти, а Фомка ластился к хозяи-

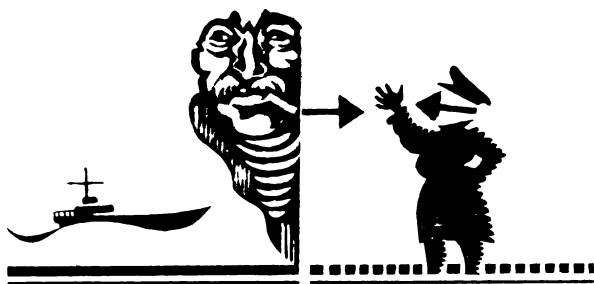
ну, жадно припадал к руке, как человек, нашедший потерянного друга. Потом, вспомнив что-то, Фомка побежал снова в чащу и вернулся, неся в зубах изодранный в клочья красный шарф.

Но хозяина не было...

Фомка сперва опешил, сел, как-то весь обмяк, тихо, жалобно заскулил и заплакал. Потом тяжело поднялся и, понутив голову, не оглядываясь назад, поплелся в лес.

Фомке незачем было оглядываться...





Рыбак

Давид и Петя вошли в вагон и заняли место у окошка. В засаленных защитных куртках, от которых сразу запахло рыбой да терпкой соленой морской водой, рядом разместились рыбаки. Они возвращались домой после весенней путины.

Паровоз дал протяжный гудок и медленно потянул за собой цепочку вагонов. Чуть кланяясь и шелестя листвой, мимо проплыли стройные тополя, затем — полосатый шлагбаум и выстроенные вдоль дороги новые многоэтажные каменные дома. Далеко позади осталась и старая крепость.

Пассажиры шумно расселись и сразу громко и весело заговорили о своих делах. Давиду и Пете, тихо сидевшим у окошка, тоже передалось бодрое настроение рыбаков. Ребята перестали даже думать о предстоящих баталиях на шахматной олимпиаде, в которой должны были принять участие, и с интересом смотрели теперь на рыбаков.

Вдруг в соседнем купе заиграла гармонь

и кто-то грубым простуженным голосом запел:

Не надейся, рыбак, на погоду,
А надейся на парус тугой...

Рыбаки разом прекратили разговоры и сначала тихо, а потом как бы набирая силу, стали громко подпевать гармонисту. Хорошо пели рыбаки. Да оно и понятно: песня-то своя, рыбацкая!

Подвыпивший рыжеволосый рыбак, с изборозженным морщинами лицом, облокотившись о полку, курил и вполголоса вторил поющим.

— Гражданин, не курите здесь! В вагоне курить нельзя! — обратилась проводница к рыбаку.

— Ш-ш-ш,— взглянув на девушку, предупредительно попросил рыбак, находившийся под впечатлением песни.— Хор-ро-шо поют, а?..— произнес он, мило улыбнувшись проводнице.

Затем, жадно затянувшись раза два, он выбросил сигарету в окно, озорно взглянул на Давида и Петю и хриплым, простуженным голосом запел вместе со своими товарищами:

А надейся на парус тугой...

Проводница недовольно посмотрела на рыбака, прошла в соседнее купе и, обратившись к сидящим там пассажирам, возмущенно сказала:

— Вот, полюбуйтесь. Ему, видите ли, наплевать на всех. Напился и поет...

— Ну, может, у людей праздник на душе, не надо портить им настроение,— начала было одна из пассажирок, но, взглянув на возмущенную проводницу, умолкла.

— Вот, вот, защищайте,— еще более распалилась проводница.— А нам, если где пылинку какую не уберем,— так сразу в книгу жалоб...

Песня прервалась так же внезапно, как и началась. Один из рыбаков, со шрамом на лице, медленно подошел к проводнице, долго и пристально глядел на нее, затем сдержанно произнес:

— Не надо, милая, не надо. Не зная человека, нельзя его обижать...— В его грубоватом мужском голосе зазвучала обида.

Удивлены и обескуражены были Давид с Петей. Они никак не могли взять в толк, чем было вызвано такое возмущение проводницы.

— А знаете вы, что это за человек? — не торопясь, медленно покачивая головой, продолжил рыбак со шрамом на лице, обращаясь к проводнице.— Знаете? Так этот человек, к которому вы так немилосердны,— герой. Вы понимаете, ге-рой! И сколько их таких, незаметных!.. — От волнения шрам на лице рыбака побагровел.

Он окинул взглядом всех обступивших купе пассажиров и хотел было махнуть рукой: что, мол, вам объяснять, но заметив двух школьников, сел напротив и, обращаясь больше к ним, чем к другим, стал медленно рассказывать:

— Давно это было. Лет двенадцать назад.

Путина только начиналась. Был март. А в марте рыба в Каспии особенная! Но и море в это время проявляет свой характер, а он у Каспия крутой, суровый...

Вышли мы в море. И вдруг такой шторм поднялся, что баркас наш стало бросать из стороны в сторону как щепку. На палубе не устоишь — волна с ревом и с огромной силой сметает все на своем пути.

В то время я был молодым рыбаком, ну и растерялся. А это и нужно было разбушевавшимся волнам. Схватили меня в охапку — и за борт. На лице чувствую какую-то тупую боль. — Рыбак провел рукой по тому месту на лице, где был шрам. — Мутит меня, крутит, аж сил нет. А море шумит, бушует, тянет в свои объятия... Вдруг слышу, кто-то неподалеку кричит. Приподнял меня гребень волны, и тут я заметил нашего бригадира, Василия. «Держись, Ибрагим! — кричит. — Держись, дружище!» Вытащил, спас меня тогда Василий, рискуя своей жизнью...

Он на минуту умолк. Окинул еще раз всех взглядом и, опять обращаясь к жадно слушавшим его рассказ ребятам, продолжил:

— Разошлись тогда наши пути-дорожки. Василия положили в больницу, я же подался в город и пошел слесарем на завод. Лет через пять после того случая как-то просматриваю газету и вижу — о Василии пишут. Рыбаков спас. Не выдержал я. Стыдно стало, что спасовал тогда, испугался моря. Вернулся к своим. Вот опять вместе...

— Дядя, извините, пожалуйста... — вдруг

разом спросили Петя и Давид.— А где он сейчас, этот бригадир?

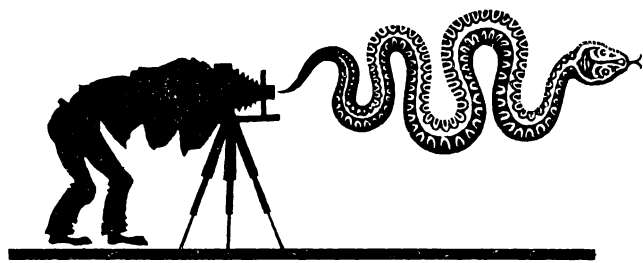
— Кто? Василий-то?

Словно очнувшись, он встряхнул головой и, кивнув на рыжеволосого рыбака, добавил:

— Вот он и есть дядя Василий...

В купе установилась неловкая тишина. А поезд шел дальше, и уже не слышна была надоедливая песня колес, словно и поезд, затаив дыхание, слушал этот недолгий рассказ о человеке...





ПОСЕТИТЕЛЬ

Было утро. Едва заведующий районным финансовым отделом вошел в свой кабинет, к нему постучали. Приоткрыв дверь, кто-то заискивающе спросил:

— Можно?

И, не дождавшись ответа, просунул в дверь голову. Показалось лицо с бегающими, как у испуганного зверька, глазами, разделенными длинным носом.

— Здрасьте,— тихо сказал посетитель у порога и медленно пошел к столу.

Заведующий что-то торопливо писал.

— Садитесь,— произнес он, не поднимая головы. Затем внимательно посмотрел на вошедшего и сказал:— Слушаю вас...

— О, извините, пожалуйста. Я вас не потревожил? — вкрадчиво заговорил посетитель, сядя на стул.— Орешков я, фотограф... В селении живу...

Он умолк и с грустью посмотрел на носки своих покрытых грязью кирзовых сапог.

Потом протянул какие-то бумаги, завернутые в пожелтевшую газету:

— Хочу получить патент...

Было ему лет сорок. Седеющие волосы топорщились, а пиджак и брюки помяты и запятнаны. Было видно, что в поисках частной работы этот человек нигде долго не задерживался и, как перелетная птица, часто покидал необжитые гнезда.

Посмотрев документы, заведующий сказал:

— Пройдите к инспектору, я сейчас распоряжусь...

Посетитель встал, положил свои документы во внутренний карман пиджака, но почему-то не тронулся с места. В волнении он мял потертую шляпу, переминаясь с ноги на ногу. Глухо кашлянул в кулак.

— Я ведь сам пришел,— наконец выдавил он из себя.— По-честному. А то как же! Хотя они мне будут мешать.

— Кто «они»? — спросил заведующий и, положив перед собой чистый лист бумаги, приготовился записывать.

— Нет, что вы! Я не потому. Нет, нет,— запротестовал посетитель.

Потом, будто опомнившись, жалко улыбнулся и заговорил:

— Вот ведь дело-то какое... Есть у нас еще фотографии, но знаете, так неудобно. Ох, совесть человеческая... Но ведь я не для себя. Я и так проживу. Я-то по закону. Но любят у нас некоторые закон обходить! А я так понимаю: зачем прятаться, обманывать. Не-

хорошо ведь, правда? Нехорошо! Вот, к примеру, Михайлов... Хи-хи-хи.— Он, будто в малярийной лихорадке, затрясся, дрожащей рукой полез в карман, вытер грязным платком лицо и продолжал: — Инвалид, с костылем ходит, а все туда же. Народ пошел, а? Фотограф... и аппарат такой — иностранный, а прячется... Я так понимаю, у веревочки все равно конец есть. Так лучше прийти, почестному. Правда ведь, а?

Заведующий слушал и что-то записывал. Посетитель тихо зашептал:

— Ой, знаете, так неудобно. Вы никому не скажете, что я? Я ведь не для себя... Вот другой. Механик совхоза Юлдашев... Хи-хи-хи... Чудак какой-то. Собирает ребят, фотографирует. Говорит, денег не беру. Басни, конечно. Я как-то спрашиваю: ты, чего, Юлдашев, бесплатно? Тихо, мирно спрашиваю. А он глаза выпучил и отвечает: «Подлец ты, говорит, Орешков»... Хи-хи-хи... Не любит правды, поганец. А мне все же мешать будет, вы же понимаете... Если патент... Народ пошел, а?

Заведующий нервно поправил галстук и отложил ручку, а Орешков, пятясь к двери, вкрадчиво извинялся:

— Ой, разболтался я. Вы уж извините, пожалуйста...

Дверь жалобно скрипнула и закрылась...





Моя пятилетняя Маринка очень любит леденцы. Ее маленькие крепкие зубки с треском ломают эти прозрачные конфетки.

И особенно Маринка любит леденцы, когда их нет у нее, а кто-то лакомится ими. В такой момент она треплет меня за рукав и тихо просит: «Я конфетки хочу...»

Так случилось и на этот раз, когда мы с товарищем, два заядлых болельщика, пошли на стадион. До начала матча оставалось несколько минут, а идти в магазин было далеко — нам с ребенком было не успеть. Но нам повезло: рядом стояла ватага ребятишек. Подозвав одного из них, я дал ему монетку и попросил купить леденцов, пообещав ждать его здесь, у входа. Не выражая отказа, мальчик взял деньги и побежал.

Шло время, а мальчика все не было.

— Ну и чудак же ты,— заметил мой товарищ,— мальчик, наверное, где-нибудь сейчас в альчики играет, а мы его ждем...

Я ответил, что он не прав, мальчик

обязательно вернется. Несомненно, думал я, его что-то задержало.

Но в этот момент к нам подошел один из той же ватаги и, сощуриив глаз, ехидно улыбаясь, спросил:

— Дяденька, вы все еще ждете?

И мальчик, весело гогоча, убежал.

— Ну знаешь что, пошли! — посмотрев на ручные часы, не выдержал мой товарищ. — Ждать уже нет смысла...

Где-то в глубине души я упрекал себя, что не дождался мальчика, который в любую секунду мог подойти, но все же последовал за товарищем.

— Папа, мальчик принесет конфетки? — неожиданно напомнила о себе Маринка...

— Принесет, дочка, принесет, — неуверенно ответил я.

— Я хочу кон-фе-ток... — стала она хныкать и вырываться у меня из рук. — Папа, пойдем домой...

— Мы тебе купим много леденцов, Мариночка, потерпи малость... — стал успокаивать девочку мой друг и этим вызвал в ней еще больший протест.

Дочка стала тихо плакать и требовать, чтобы мы ушли со стадиона. Нам стоило немало трудов ее успокоить.

Прошло уже минут двадцать, захваченные игрой футболистов, мы уже и забыли о своем гонце, как вдруг рядом с нами оказался посланный за конфетами мальчуган. Рукав его рубашки, у самого плеча, был распорот, брюки выпачканы известью.

— Дяденька! — с упреком проговорил он.— Что же вы не подождали? Мне пришлось через забор перелезть... Вот, возьмите, пожалуйста!— И он протянул мне кулек с леденцами.

— Ты? Какой же молодец! — Я притянул его к себе и, как родного, радостно обнял за плечи.

— Принес, принес! — запрыгала Маринка и с благодарностью приняла у мальчика кулечек с леденцами.





В большом дворе многоквартирного коммунального дома, который с годами за счет всевозможных пристроек и времянок сужался и терял былые красоту и раздолье, в маленькой комнатке без удобств жили две старушки, два Божьих одуванчика, два ангела, два херувима — чистые, как хрусталь, и непорочные, как душа младенца.

Об их фанатичном служении Всевышнему ходили легенды, а вера была той путеводной звездой, которая делала их жизнь счастливой и одухотворенной, помогала преодолевать житейские трудности.

Роптать на судьбу, считали они, — грех, предаваться всевозможным соблазнам — тоже грех, а по отношению к девушкам-невестам были непреклонны, считая целомудрие и чистоту до их замужества неприкосновенной святыней.

Жили они точно так же, как и проповедовали: скромно и скромно, избегая шумных компаний и пустословие похвал. Не любили

соваться в чужую жизнь, но и в свою никого не пускали.

Однажды наши старушки заболели, грипп немилосердно свалил их в постель. Никто во дворе не остался равнодушным к богомолкам, но особую заботу проявил к ним дальний родственник, вихрастый молодой человек, а что касается главного врача участковой больницы, так тот окружил их таким вниманием, что посещал их палату дважды в день.

Вскоре старушки стали выздоравливать, но стал замечать врач произошедшую в них перемену: этакие искорки в глазах, беспричинную веселость, даже жеманность в движениях, и в нем проснулось подозрение.

— Как вы себя чувствуете? — будто невзначай, спросил он как-то старушек.

— Ой, мы просто счастливы, сынок! — весело воскликнули богомолки и стали благодарить врача за скорое выздоровление.

Но подозрение не оставляло врача, и он однажды не выдержал.

— Вы что, выпили? — спросил он одну из них.

— Да ты что, сынок?! — возмутилась богомолка. — Грех даже думать об этом...

— Мы только этот чудный компот и пьем, — весело улыбаясь, сказала другая и показала на стеклянный трехлитровый баллон на подоконнике. — Спасибо нашему «вихрастику»!.. Такой сладкий и вкусный компот, мы и не знали, что такое бывает...

Врач посмотрел на баллон и все понял. На этикетке было написано: «Слива в вине»...



Дорога сворачивала в небольшой лесок, а исхоженная извилистая тропинка вела к зеленому кряжистому дубу. Стоял он замороженный тихой песней родника, бьющего из-под его корней. Холодная, прозрачная вода родника манила к себе каждого путника. Нас уже опередили. Кто-то, выпив прямо с ладони, говорит:

— Ах! Родник-то какой... Даже на душе легче стало!

Я узнаю его — это молодой тракторист Юсуф из соседнего села. Он смотрит куда-то вдаль, потом тихо объясняет:

— К учителю иду, туда... — Кивком головы в сторону он показывает на стоящий невдалеке домик. — Посоветоваться...

Полюбилась ему приезжая девушка. Год уговаривает старую мать, но она и слышать не желает, есть, мол, и свои невесты...

Вспомнив что-то дорогое, приятное, он просветленно улыбается и добавляет:

— А учитель этот душевный человек. Со всех селений к нему люди идут...

Лицо у Юсуфа широкое, загорелое, чуть с горбинкой нос, тонкие красивые усы, невысокий прямой лоб, глаза черные, добрые...

Я и мои спутники еще долго отдыхали. Солнце уже находилось в зените. За это время у родника побывало несколько путников, но вода в нем не убавилась и не помутнела...

Вдруг кто-то трогает меня за плечо. Это вернулся Юсуф.

— Был у него... Ну, душа человек! — Он весело щелкает пальцами и улыбается. — Делай, говорит, как сердце велит, мать поймет. Сказал — и душу согрел...

Юсуф быстро направляется домой. Идет легко, словно только что с его плеч сняли тяжелый груз.

Мы смотрим ему вслед. Я вспоминаю:

— Ах! Родник-то какой... Даже на душе легче стало!



Оставляя за собой одну станицу за другой, автобус двигался к конечному пункту. Мимо проплывали небольшие хутора, вспаханные поля и одинокие старые дубы — живые свидетели лихого прошлого терского казачества.

Стояли последние февральские дни, когда солнце, устав прятаться от уходящей зимы, выплеснуло на землю накопившееся тепло, напоминая и ярким лучом, и набухшими почками яблонь о приближающейся весне.

Автобус остановился. Утомленные пассажиры пооткрывали окна и сразу заговорили кто о чем. У самых дверей сидела молодая черкешенка. Поглядывая в окно, она беспокойно искала кого-то среди стоящих вдоль дороги станичников. В следующую секунду лицо ее осветилось улыбкой, женщина поднялась.

...Тяжело дыша, семена чуть согнутыми в коленях ногами, к автобусу торопился

старик. Женщина, выглянув в открытую дверь и махнув рукой, крикнула:

— Ба-тя! Ба-тя! Я здесь...

— А-а, Лена! Здравствуй, дочка! — еле переводя дыхание, говорил старик. — Чуть было не опоздал, досталось бы мне от старухи. Вот возьми внучке подарки...

— А мама где?

— Э-э-э, полно, дочка. Разве вы, дети, помните о матерях? — И, глубоко вздохнув, добавил: — Приболела она. Телеграмму получила, обрадовалась, тебя ждала, думала зайдешь...

Автобус тронулся. Женщина села на место. В руках она держала связку вкусно пахнущих домашних кренделей и маленькую корзиночку яблок.

Женщина, приняв подарки, с грустью уставилась в окно, провожая взглядом стоявшего на полусогнутых ногах старика.

— Видать, любят старики внучек... — не столько вопросительно, сколько утвердительно сказал сидевший рядом с ней мужчина. — Не забыли...

— Да, не забыли... — в раздумье, как-то рассеянно ответила женщина. — А я вот...

Вдруг она вскочила и громко крикнула:

— Водитель! Остановите, пожалуйста!..

Машина дрогнула, проехав немного, остановилась. Женщина сошла и быстро направилась к станции. Она торопилась к матери...





На окраине большого города, в районе новостроек, напротив фасада шести многоэтажных домов в два ряда поставили кооперативные гаражи. Затем в проект внесли небольшую поправку, и гаражная застройка приобрела форму буквы «П», а вскоре замкнулась и четвертая ее сторона шлагбаумом и сторожевой будкой.

Каждый вечер к шлагбауму подъезжают на своих машинах члены кооператива, и каждый на свой лад требует впустить в отведенную ему каморку. В ответ радостно твякает бдительный пес, и вечно сонный сторож поднимает шлагбаум.

Вначале всепоглощающий шум нескольких сот машин, мотоциклов и твяканье шавки вызвали буйный протест машинонеимущих, однако жалобы рассматривать не стали, напомнив жильцам, что с самого начала строительство велось не без их согласия.

Со временем страсти улеглись, люди привыкли к этому утрenne-вечернему шуму,

как мужья привыкают к сварливым женам, а те, в свою очередь, к мизерной мужниной зарплате. Так уж устроен человек — ко всему привыкает.

И в тот вечер, когда я был в гостях в одной из квартир на восьмом этаже, к шлагбауму стали подъезжать машины, как будто в единое русло вливаются стекающие с гор ручейки. Некоторые владельцы транспорта делали это без излишнего шума, даже без подачи сигнала, лишь у самого въезда чуть прибавляли газ, чтобы разбудить сонного сторожа. Другие легким нажатием на клаксон сигнализировали лишь один только миг, мол, знай, браток, если бы была возможность тебя предупредить по-иному, я бы этого не сделал.

У одних сигналы были необычные, чужеземно-мелодичные, у других — бесцветно-унылые, отечественные. У одних — задиристостовеселые, у других — скромно-приглушенные. Подъезжали «Волги» и какие-то респектабельные импортные, наши легкие, поворотливые «жигуленки» и всех выпусков и времен «Москвичи». Предупрежденные владельцы автомашин не только сами старались не шуметь, но и порой усаживали желавшую поиграть от безделья расшумевшуюся шавку.

...А этот начал подачу сигнала уже метров с двадцати, да так громогласно, с такой воющей силой, будто это была не одна, а целая кавалькада машин, сопровождающая Его Превосходительство. Невольно возникла мысль, что хозяин ее не рядовой смертный...

Но самой машины было не видеть.

— А-а, подкатил деятель! — со смешком заметила хозяйка нашей квартиры. — Ему все нипочем...

— «Кадиллак», наверное? — спросил я. — Небось, завбазой?..

— Не-е-ет!

— Ну тогда «Мерседес»? — снова взыграло мое любопытство. — Завскладом, это уж точно!

— Ишь, чего... — с улыбкой ответила хозяйка.

— Может, солидный директор на «нашей» «Волге»? — не сдавался я.

— Да нет же! — загадочно ответила хозяйка и весело добавила: — Инженеришка на «Запорожце», вот и шумит...





За окном осень. С деревьев падают обреченные листья. Один припал к оконному стеклу, будто просил о помощи, потом оторвался и полетел на землю.

А в большой комнате торговой конторы шумно. Слышится перестук костяшек на счётах, тихие женские и грубоватые мужские голоса.

Не слышно лишь, как отмеривают время стенные ходики.

В узком проходе меж столов стоит сторож конторы дядя Мустафа, неторопливо пересчитывая только что полученную зарплату. Спина у него сутулая, плечи приподняты, движения медлительны. Из-под старой плшивой шапки выглядывает седина. Широкий брезентовый плащ, накинутый поверх ватника, шуршит и распространяет сырой запах моря. Лицо старика бледное, скуластое, в усах словно серая пыль, маленькие глаза спрятаны под густыми серебристыми бровями.

Сосчитав деньги, дядя Мустафа положил

их в карман, но потом, вспомнив что-то, вынул их обратно. Снова полез сначала в один карман ватника, затем в другой. Положил на стол завернутые в целлофан фотокарточки, шнурки от ботинок, аккуратный сверток пожелтевших от времени писем.

...Длинную трудную дорогу жизни прошел дядя Мустафа, и эти письма — добрая память о людях, с которыми свела его когда-то судьба. Но те, с кем он работал сейчас, ничего об этом не знали.

Так уж порой бывает: живешь с человеком, кажется, целую вечность, видишься и говоришь с ним ежедневно, а не ведаешь о нем ничего.

Дядя Мустафа еще раз обшарил карманы, задумался и вдруг, будто испугавшись, стал торопливо убирать вещи со стола. Лицо его было угрюмо и сосредоточенно, отчего он казался хмурым и нелюдимым.

Работники конторы, не отрываясь от дела, искоса поглядывали на старика. А учетчица Фатьма, милая чернушка, с ехидцей спросила:

— Дядя Мустафа, вы что-нибудь ищете? Мы уже, грешным делом, подумали, не потеряли ли вы все свое богатство?

Все улыбнулись. А кто-то даже рассмеялся. По всему было видно, что не впервой подначивали конторщики молчаливого старика.

Старик нахмурился и положил широкую ладонь на плечо девушки:

— Ты, Фатьма, молода еще... — И ушел.

Все вернулись к прерванным делам, словно и не было здесь дяди Мустафы.

Рабочий день подходил к концу.

— Рамазан Гаджиевич! — вдруг обратилась к главному бухгалтеру товаровед, полная женщина средних лет. — Надо бы нашего гостя устроить на ночлег, а в гостинице мест нет.

— Какого гостя? — спросил главбух.

— Как какого? Инженера по холодильникам...

— Ах, да-а... — Рамазан Гаджиевич задумался. — У меня в городе квартиры нет... Может, ты его возьмешь?

— Я уже думала, да вот беда — ко мне приехал брат с семьей.

— Что же делать?.. Ну-ка, попробую позвонить в гостиницу, у меня там есть знакомый товарищ. — Рамазан Гаджиевич поднял трубку и попросил гостиницу. — Гостиница? Мамедов? Салам. Рамазан говорит. Слушай, к нам инженер приехал, помоги устроить. Что? Ничего нет? А может, через «ничего», а? Сам знаешь, в долгу не останусь. Да-а... Ну ладно, пока.

Он обвел всех вопросительным взглядом, как бы прося найти выход.

— Света, может, ты, а?

Девушка покраснела:

— Тоже скажете. Я же одна...

— Ну и что же. Он молодой, симпатичный, можно и замуж выйти, — пошутил главбух, чем еще больше смутил девушку.

...Опустив голову, будто все, о чем здесь

говорили, ее не касалось, Фатьма продолжала работу. Все знали, что она с матерью живет рядом.

— Как жаль, но и я не могу,— не дожидаясь, когда ее спросят, вдруг сказала она.— Неудобно как-то. Что люди скажут?

— Да-а...— невесело протянул главбух.— Что же, на улице оставлять его?

В это время в комнату быстро вошел шофер конторы и уже с порога спросил:

— Вы едете, Рамазан Гаджиевич? Дождь собирается.

— Поехать-то надо, да вот куда гостя устроить...

— Какого гостя? — не понял шофер.

— Да инженера...

— Так его дядя Мустафа к себе пригласил, только что они ушли, — ответил шофер.

В комнате установилась тишина. Лишь громко, как возвращенное к жизни сердце, стучали настенные ходики: тик-так, тик-так...





Давным-давно, когда не было на свете ни тебя, ни меня, и наших дедушек и бабушек еще не было, жила в нашем старом Дербенте прославленная женщина Туту-бике.

Гордо и неприступно стояли на пути непрошенных гостей северная и южная стены, только для людей с добрыми намерениями открывались двенадцать городских ворот. А на вершине горы, как бы связывая в узел могучие стены, стояла крепость Нарынкала. В этой крепости и жила хозяйка города Туту-бике, храбрая и мужественная женщина.

Больше всего на свете она любила свою родину — Дербент. За родину она готова была отдать и богатство, и счастье, и даже собственную жизнь. Но только одним она не могла поступиться даже для любимой родины — это своей совестью. Честность, прямоту и чистую совесть она считала выше всего и этого требовала от других.

Однажды, воспользовавшись отсутствием в городе военачальника, северные варварские

племени напали на город. Большая опасность нависла над ним, над его жителями. Смерть и разрушение несли с собой многотысячные войска варваров.

И тогда в трудный для родины час оборону города возглавила Туту-бике. По ее зову вооруженные отряды заняли свои места на крепостных стенах и бойницах, на защиту города встали и его жители. И там, где труднее всего, там с саблей в руках оказывалась Туту-бике. Да и народ города был боевой, храбрый и сдаваться без боя, отдавать задешево свою жизнь и свободу не хотел. И варвары, как ни бились, ничего не могли с ним поделать.

Много сотен варваров полегло в этой битве. Были жертвы и у дербентцев, среди них два юных сына Туту-бике — Ахмедхан и Шихалихан.

А в стане варваров находился в это время Гамзат — родственник Туту-бике. Это по его наущению вождь варваров решил напасть на город, это он обольстил его богатыми посулами.

И когда Гамзат понял, что затея его провалилась, что город взять не удастся, он решил схитрить: тайком темной ночью он пробрался к Шуринским воротам и умолил стражу пропустить его к госпоже.

— Что тебе, странный человек, жить надоело? — спросил начальник караула, вызванный стражей. — Как ты сюда попал?!

— Веди меня к Туту-бике, я принес для нее важные вести, — сказал Гамзат.

И нукеры повели Гамзата к Туту-бике.

Туту-бике в это время, незаметно от людей, оплакивала своих погибших сыновей. Она была матерью.

Когда к ней ввели Гамзата и он протянул ей сверток, она спросила:

— Что это такое?

Гамзат поклонился ей и ответил:

— Сестра моя, я виноват перед тобой, но решил искупить свою вину. В этом свертке план расположения войск варваров, их можно окружить и уничтожить.

Гамзат думал, что Туту-бике кинется его благодарить, забудет о его предательстве.

Но Туту-бике выслушала его молча, нахмурилась и долго не отвечала. Потом повернулась к своим нукерам и сказала:

— Свяжите этого жалкого труса.

Нукеры кинулись исполнять ее приказание.

Гамзат побледнел и, обращаясь к Туту-бике, стал кричать:

— Что ты делаешь, сестра моя? Ты меня не поняла!

— Теперь привяжите ему к шее этот сверток, а самого — к молодому ослу и гоните прочь...

Она повернулась к своим воинам и сказала им:

— Помните, друзья мои, если вам придется и в будущем воевать с сильным и мужественным врагом, надо всегда и во всех случаях полагаться на собственные силы, а не на бесчестие и предательство других.

Когда вожди варваров узнали о том, какую злую игру хотел сыграть с ними Гамзат и какое мужество и справедливость проявила при этом Туту-бике, они собрали совет и постановили: оставить город в покое и вернуться назад.

Добро и справедливость восторжествовали.

Туту-бике и двое ее сыновей похоронены на кладбище Кирхляр, слава же о храброй и мудрой женщине живет и поныне.





Светлый вместительный перрон железнодорожного вокзала был переполнен: старые и малые спали на рюкзаках и всевозможной поклаже, потерявшие терпение мужчины бегали от справочной к дежурному по вокзалу, ибо понять хриплый голос из репродуктора о времени подачи и отправления поездов было невозможно, а женщины, примостившись на краешки чемоданов, усталым взглядом ждали возвращения ушедших на поиски сведений мужей.

Отправление многих поездов задерживалось.

Были предпраздничные дни — люди хотели поспеть на праздник домой. За сотни и тысячи километров приехали они в столицу, чтобы купить детям одежонку, да и самим приодеться, да харчей набрать на недельку-другую... Пустые полки своих магазинов и невозможность истратить заработанные деньги гнали их в далекое «путешествие». Всеобщий дефицит изменил облик страны,

превратив некогда оседлый люд в кочующие орды.

Наконец после пяти часов ожидания подали поезд. Уже через двадцать минут, когда поезд тронулся в путь, в нашем вагоне установилась непонятная тишина, словно не было во время посадки суетливых выкриков, беготни и сутолоки, наскоков и взаимных обид. Видно, устал народ от вечной суеты, поисков и ожиданий, от всего устал...

Поскольку вместо середины дня поезд подали к вечеру, уже через час многие пассажиры легли отдыхать. Однако вскоре дремотную тишину и мерный перестук колес прервала песня — в соседнем купе запели женщины. Пели негромко, вполголоса, но хорошо, задушевно, вспоминая забытые нынче песни из кинофильмов. Лились голоса, как ручейки с гор, напевно, с волнением, наполняя сердца сладостной истомой воспоминаний...

Вагон замер, прекратились даже редкие разговоры, исчезли обрывки фраз — все молча слушали негромкое пение. Но вдруг эту песенную тишину нарушил резкий стук, дверь к девушкам отворилась, и возмущенный мужской голос произнес:

— Чего вы распылились... на высь вагон?..

— А что такое? — непонимающе спросили девушки.

— Нацлы время, на высь вагон, людить отдыхают.

— Так время-то... еще светло, да и поем мы тихо...

— Ну и шо, пыйти для сыбя! — будто приказал пассажир и ушел в свое купе.

Поющие умолкли, словно песенную птицу подстрелили на лету...

Несколько минут я лежал подавленный, будто не песне заткнули рот, а тяжелой глыбой навалились на меня, отчего стало трудно дышать. Я спустился с верхней полки, надел шлепанцы, вышел в коридор и направился на поиски нашего стража.

Дверь его купе была открыта, пассажиры из него вышли в коридор, а тот, кто минуту назад взывал к тишине, как ни в чем не бывало лежал на своем месте и... храпел на весь вагон.





Кто сказал, какой доморощенный эскулап мог открыть ему страшную тайну о его неизлечимой болезни — так и осталось тайной. Однако встретил он это известие спокойно, без надрыва, можно даже сказать, с какой-то веселостью, философской раскрепощенностью, словно мучимый угрызениями совести, выпустил на волю запертого в клетке орла.

Было ему лет шестьдесят, роста среднего, сутуловатый — не минула и его профессиональная сгорбленность, голова для такого роста казалась чуточку большой, лицо светлое, губы бантиком, глаза большие, круглые, слегка навывкат, отчего взгляд его казался удивленным, по-детски наивным. Если не считать небольшой деформации спины, никто бы не угадал его профессии. Могли предположить, что он учитель, работник прилавка, даже артист эстрады, ибо обладал он веселым нравом, любил шутки, не прочь был и пофилософствовать с этакой претензией на серьезность, однако все непременно сводилось

к какой-либо шутке. А оказался он бухгалтером, представителем той «копошащейся» категории людей, которые целыми днями передвигают костяшки счётов, крутят ручки арифмометров, в лучшем случае нажимают на клавиши счетных машинок — нудно, скрупулезно считают и пересчитывают, приводят бумажный поток нашего хозяйствования в тот необходимый порядок, о котором со всех стен кричат лозунги.

Короче, пятый больной нашей палаты был человеком неординарным и самое главное — нескучным.

Он внес в нашу размеренную жизнь этакий элемент аритмии, диссонанса, неприкрытого жизнелюбия, прямого нарушения того неподвижного покоя, к которому мы в больнице привыкли и который считаем в порядке вещей. Мало того, к запахам хлорки, карболки и прочей «больничной братии», вопреки здравому смыслу, он прибавил в палату еще один запах, кощунственный, такой непривычный здесь запах водки — едва уловимый, тайный, словно запретный плод.

Приносили ее разные люди и в разное время, но в удивительно одинаковых бумажных пакетах, которые до шестьдесят первого года продавали на базаре за тридцать копеек, а сегодня всего лишь за двадцать. И всегда рядом с бутылкой, будто примостившись к ней, лежала вареная или зажаренная в духовке курочка. От нас, своих товарищей по палате, он ничего не прятал, лишь заговорщически улыбался, легкой, беззвучной,

словно боялся кого разбудить, походкой приближался и клал свой пакет на стол, так же легко возвращался и ножкой стула запирал дверь, быстро мыл и расставлял стаканы, разливал водку, ею же дезинфицировал руки и быстро, умеючи разламывал курицу. Делал он это мастерски, ел аппетитно, искусно обгладывая каждую косточку, чем вдохновлял и нас.

В последний день он был особенно веселым, смеялся, напевал песни, как человек с чувством исполненного долга, продолжительно и сердечно жал руку посетившему его другу, расспрашивал о семье, детях и одухотворенно замолк, когда тот ушел.

Но, как всегда, тайное становится явным, в скором времени наш «злоумышленник» был раскрыт. И случилось это так. Чуткий нос врача при обходе не раз улавливал в палате непривычный для этого места, но удивительно знакомый запах, искал глазами порожнюю посуду, расспрашивал нянек-санитарок, медицинских сестер, однако расспросить об этом больных не решался.

Тем не менее в этот раз он без размышлений стал ревизовать содержимое тумбочек, шкафа, заглядывал под подушки и ахнул от неожиданности, приподняв матрац бухгалтера. Там одна к другой, словно сторублевки в сундуке известного дербентского богача, лежали пустые бутылки.

— Не сердись, дорогой, — тут же нашелся наш бухгалтер и убежденно заявил: — Все, завтра выписываюсь, больше не принесут...

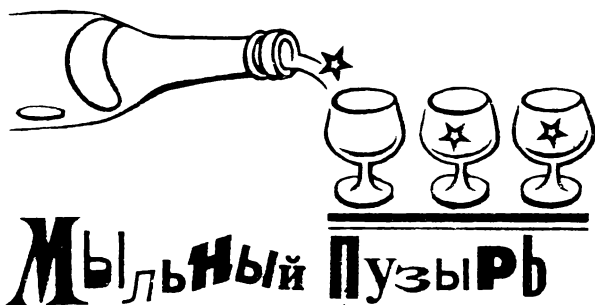
— Как? — ничего не понял врач.

— А так,— так же убежденно ответил бухгалтер и протянул ему список.— Вот, посмотри, здесь все мои друзья, дорогие мне люди... За то время, пока я здесь, они все у меня были, последний с бутылкой и курицей пришел вчера... Делать мне здесь больше нечего...

Он радостно улыбнулся и с еще большей убежденностью добавил:

— Ты знаешь, доктор, я рад, что не ошибся в них, так трудно ошибиться в близких...





Захотел один человек прославиться. Что ж, ничего в этом как будто плохого нет, если он трудолюбив и талантлив, если дела его приносят людям радость и пользу. Как говорится, трудом славен человек. Но в том-то и дело, что подобных качеств в этом человеке не было, если не считать великого желания прославиться и хитрости чрезмерной.

А тут подвернулся случай... Назначили его главным «коньячным» мастером коньячного комбината одного городка на Тереке. Было это сразу после войны. Всего недостает, кругом разруха, все не ладится, а здесь, на комбинате, такие коньяки стали производить, что все ахают от удовольствия да славят «коньячного» мастера. Из городка в область, а там еще дальше — до самой столицы страны — дошла слава об этом комбинате и его главном мастере.

Прослышали об этом, говорят, в самых верхах, лично товарищ Микоян заинтересовался этим коньяком и пригласил к себе

«коньячного» мастера. Шуму-то было... на всю страну. Еще бы, слава-то какая!

Собрался наш герой в дорогу. Директор дает ему поручения: непременно попросить дубовой клепки, без чего и коньяков быть не может, да денег на восстановление комбината — все же война рядом ходила, да емкостей, желательно дубовых, а нет, так хотя бы пару десятков цистерн, покрытых изнутри эмалью, а еще строительных материалов на жилье — в бараках спят люди, надо и им помочь.

А о поручениях жены, родственников и знакомых и говорить трудно — полный короб.

Взял наш мастер несколько бутылок своего прославленного напитка, правда, без этикеток (комбинат розливом коньяка не занимался, а изготавливал, хранил и реализовывал в бочках), и поехал в столицу. Принял его, рассказывают, Микоян очень радушно, попробовал угощение, отчего пришел в восторг — видно, был он большой знаток этого божественного напитка, расспросил о делах, о масштабах производства, а потом, хотя и было трудное время, удовлетворил почти все производственные заявки, да настолько понравилась ему деловитость нашего героя, что повысил ему зарплату более чем в два раза. И получилось в результате, что он с того времени стал получать зарплату выше директорской.

Ну тут, как говорится, прения излишни — так решило правительство! Правда, при этом была высказана просьба выслать в адрес

одного из заводов Москвы двести декалитров этого коньяка.

Сказано — сделано. О нашем «коньячном» мастере стали писать в газетах, говорить по радио, его избирали в президиумы всевозможных совещаний, а потом — в депутаты области. Что и говорить, он не успевал за своей славой, и уже поговаривали, что в скором времени его назначат... Чего только не говорили! Однако через некоторое время из Москвы пришла телеграмма с заданием выслать еще тысячу декалитров коньяка...

Вначале это привело нашего героя в некоторое замешательство, однако по указанному адресу коньяк был выслан снова. Но в Москве были, мягко сказать, шокированы. Новая партия коньяка оказалась совсем не тем, на что рассчитывали, даже не коньяком, а каким-то суррогатом. Молва шла о том, что на каком-то дипломатическом приеме произошел конфуз...

И вскоре все выяснилось. Дело оказалось в том, что, в то время как гитлеровские полчища рвались к Тереку, было принято решение вывезти с комбината коньячные спирты, а потом, когда враг оказался совсем близко, эвакуировали и рабочих. Вывезли с комбината почти все, если не считать нескольких сот пустых дубовых бочек, часть из которых сгорела потом при пожаре. Осталась еще надежда эвакуированных вскоре вернуться домой. А к этой надежде прибавилась маленькая хитрость рабочих комбината, которые среди свалки пустых бочек оставили

несколько полных бочек молодых коньячных спиртов. В спешке и суматохе эвакуации эти бочки были забыты.

Когда фашистов отогнали прочь, судьба этим добром распорядилась по-своему. Эвакуированные в свое время рабочие, особенно те, которые знали об этом секрете, или погибли, или не вернулись обратно. А вновь назначенный на комбинат главный «коньячный» мастер их обнаружил и скрыл. Содержимое бочек, которые пролежали под открытым небом более двух лет, под дождем и ветром, под палящим солнцем, прошло «природную» технологическую обработку, короче, природа сама создала шедевр — великолепный коньяк.

А поскольку наш герой, кроме большого желания прославиться, ничем не обладал, его кратковременный триумф и лопнул как мыльный пузырь.





Глава сельсовета уведомил налоговую инспекцию, что бывший тракторист колхоза, некий Саламат, не сеет и не пашет нынче, а страсть как к строительному делу приохотился, мол, строит-де дома большие да каменные и доход немалый загребает, а чтобы налогов не платить, утаивает это, скряга окаянный. А дабы проучить жадюгу этого, вывести этого самого Саламата на чистую воду и налог с него взыскать в двойном размере (со штрафом, значит), предлагалось срочно командировать в село инспектора, ибо как раз в эти дни тот-де строит дом главе колхоза.

Инспектор добрался до села в конце воскресного дня, когда дневное светило, совершив привычный обход, возвращалось к месту своего заката. После жаркого дня это время прохлады и удовольствия: как говорится, не день, не ночь, и даже не сумерки, а райское время суток. Вот в такие часы и любят работать строители на селе, когда и дело спорится, и оно в радость.

Строительство дома главы колхоза шло скоро. Двое парней бойко помогали мастеру, да и сам хозяин не чурался работы, засучив рукава и надев фартук, он таскал по лесам тяжелые пиленные кубики известняка, пошучивая при этом над своим непомерно выросшим животом. Судя по потным и усталым лицам, по серой каменной пыли на темном пушке их груди, можно было догадаться, что, не посчитавшись с жарой, они сегодня работали и днем.

— А-а, к нам инспектор пожаловал,— заметив налогового, улыбнувшись, сказал хозяин, потом устало положил камень в ряд и решительно добавил: — Милости просим, как раз к задержавшемуся обеду. Все, ребята, шабаш!..

— Обедать так обедать,— откладывая в сторону мастерок и перчатки, устало сказал мастер, высокого роста детина. Большая бычья голова на толстой крепкой шее не соответствовала узкому его лбу и хитрым бегающим глазам.— И никакого налога, инспектор, с меня не возьмешь... Денег за работу я не беру, делаю это по доброте души, как говорится, от всего сердца. Так или нет, хозяин?

Глава колхоза на какую-то секунду растерялся от неожиданности, потом нашелся и, опустив голову, словно был занят сервировкой стола, ответил:

— Да, конечно, о чем речь... наш Саламат добрейший парень. Вот и эти двое — мои племянники, на помощь пришли, у нас в селе

заведено так — все друг другу помогают...

Под лохматым тутовником заботливой хозяйкой был накрыт стол: пышущие жаром куски баранины от хинкала, тонкий лаваш с насечкой, овечий сыр домашнего изготовления, зелень, свежие помидоры да приправы разные, водка да сухое вино в бутылках.

— Садитесь, дорогие, прошу вас, — пригласил всех хозяин за стол и сам приступил к трапезе. — Ты, Саламат, прямо быка за рога, — наливая ему водку, улыбаясь, говорил хозяин. — Дай инспектору опомниться, нельзя же так...

— Знаю я, — снова заговорил Саламат, — вылив в себя полстакана водки, — видно, опять этот «слуга народа» настрочил... Ну, казалось бы, чего надо-то: я ему все по хорошему, по-людски, а он... — При этом он так зажал пальцы в огромный кулак, аж кости хрустнули... — Да, помогаю, строю людям дома, можно сказать, за бесплатно. Что в этом плохого? — Узкие, хитрые глаза его при этом еще больше сузились. — Не буржуям разным, не капиталистам, а своим доброе дело делаю, я вообще от природы добряк. Так или нет, хозяин?..

Он улыбнулся, вылил в себя водку, жадно закусил бараниной и, не дождавшись ответа, продолжал:

— В прошлом году приключился со мной такой интересный случай... Завершаю, значит, весеннюю пахоту — под овощи, как вдруг под гусеницы моего трактора лезет маленький такой зайчонок. Ах ты, думаю,

Божий дар, дитя неразумное, куда же ты лезешь или тебе жить надоело?..

— Ты кушай, Саламат, кушай...— посоветовал ему хозяин,— успеешь, расскажешь еще...

— Обидно, понимаешь, когда тебя ни за что травят...— снова, выпив и закусив, сказал он с таким простодушием и сердечностью, что инспектор вдруг засомневался в правоте заявителя. Однако через несколько секунд мастер вдруг спохватился и продолжил свой рассказ:— Да, а дальше вот что было. Остановил я трактор, уже вечерело, поймал зайчонка, а он прямо дрожит у меня в руке от страха, положил его за пазуху и домой. А дома накрошил ему капустки, морковь пропустил через мясорубку, и что удивительно: ни у кого ничего не берет, а у меня прямо с ладони ест. И так каждый день, ждет меня, как Бога. И как только я на порог дома, так мой зайчонок сразу бросается ко мне, лижет мне пальцы, ест даже из рук, прямо дитя малое.

— Надо же...— недоверчиво сказал один из его помощников.— Я-то думал, что зайцы вообще к человеку боятся прикасаться...

— Вот, вот,— подхватил разговор Саламат.— Все мои домочадцы жалуются, что зайчонок никого к себе не подпускает, а ко мне прямо душой прилип. Чует, подлец, доброту-то... они, звери, хорошего человека за версту видят. Так и растет мой зайчик. А тут, как на грех, меня пригласил на строительство дома твой сват, ну, как это, из Ухтов. Так или

нет, хозяин? — Он вопросительно посмотрел на главу колхоза и, прихватив со стола почти целый пучок зелени, скомкал его, положил в рот и стал жевать.

— А-а, да, да, помню, ты ему тоже так месяца два... помогал, — улыбаясь то ли от выпитого, то ли от какой-то тайной мысли, ответил хозяин.

— Точно, — дожевывая зелень, продолжал мастер, — пробыл я в Ухтах два месяца и, возвратившись, не узнаю своего зайчонка. Вырос-то как, прямо барашек целый. Однако смотрит на меня недовольно, близко не подходит, короче, явно выражает обиду: мол, где это ты так долго пропадал... А когда я взял его на руки, ты бы слышал, как он начал кричать, капризничать, поцарапал меня всего, а потом как куснет за палец, аж кровь пошла! Обозлился я, ах ты, думаю, Божий дар, ты что же меня, своего спасителя? Взял я его за голову и свернул ему шею...





В большом светлом холле детской больницы маленького южного городка, прильнув носом к широкому оконному стеклу, в серой больничной пижаме, почесывая пальцами одной ноги другую, стоит в задумчивости двенадцатилетний Сабир. Он тоскливо смотрит на улицу, где городские мальчишки, бросив в кучу портфели и сумки, шумно и увлеченно играют в альчики.

Уже месяц как привезли его из аула сюда, и ему здесь все жутко надоело. Хотелось сейчас туда, на улицу, а еще лучше — к аульским друзьям, поиграть в лапту, в чехарду или хотя бы в те же альчики, сбегать в цветущую нынче родную долину, к голубому озеру, где вода всегда чистая и холодная, питающаяся из невидимого родника, да куда угодно, только бы уйти из этой, хотя и залитой ярким солнечным светом, но все же наглухо закрытой больничной палаты.

Еще неделю назад врач с такими же, как

у покойной матери, добрыми и ласковыми глазами, сказала Сабиру, что он уже, слава Богу, здоров и, мол, в скором времени за ним приедет отец — в аул дали телеграмму.

А его все нет. Сабир догадывается, что отец, шофер автобазы, наверное, опять в командировке и потому не сумел сразу за ним приехать. Такое с ним случается часто: пустые сельские магазины ждут подвоза товаров со складов, вот он и мотается из аула в аул, порой неделями не возвращаясь домой.

Он привык к долгим отлучкам отца и потому многое научился делать сам. Правда, соседские женщины после неожиданной смерти матери не оставляют его без внимания: то обед приготовят, то одежонку постирают, да и по хозяйству, когда надо, помогут. И как будто все нормально: мальчик растет, одет, обут, слава Богу, не голоден. Но за внешним этим благополучием нельзя было не видеть, что в сравнении со сверстниками Сабир был ниже всех ростом, часто болел, что клочок земли у дома неестественно облысел, гроздь на виноградных лозах рождались теперь не полными и сочными, как прежде, а мелкими и жухлыми сережками, даже вода в колодце незаметно стала терять свой прежний вкус. Да и каким может быть хозяйство, когда полагаются на помощь других, лишенное заботливых рук самого хозяина...

Неожиданно где-то в середине дня открылась дверь и в приемную вошел, даже не вошел, а как-то осторожно, будто боялся

наступить на что-то, перешагнул порог слегка сутулый, медленный в движениях, грузный для своего сравнительно небольшого возраста, в сапогах и измятом на спине пиджаке, небритый мужчина. В одной руке он держал телеграмму, а в другой сетку с мандаринами, яблоками и кульком конфет.

— Ой! — воскликнула от неожиданности дежурная-врач. — Вы отец Сабирчика?

— Да! — глухо кашлянув в кулак, ответил мужчина и, виновато опустив голову, спросил: — А где он?

— Сейчас... сейчас я его позову, — сказала она и пошла за мальчиком, потом, повернувшись к посетителю, добавила: — Он вас давно ждет...

Сабир бежал навстречу отцу, выражая восторг. Глаза его радостно блестели.

— Отец, ты приехал! — обнимая и целуя отца, говорил мальчик. — Я так думал, что ты скоро приедешь...

Отец высвободился из объятий сына и протянул ему сетку с фруктами.

— Ой! — воскликнул мальчик. — Мои любимые мандарины! Сейчас я оденусь и выйду, мне сказали, что я уже здоров, — кивком показав на стоявшую рядом врача, добавил он.

— Ты подожди, сынок, — виновато пряча глаза, сказал мужчина. — Я сейчас не могу... я за тобой завтра приеду...

— Как? — не понял Сабир. — Я уже здоров, отец, домой хочу...

— Там, на улице, груженная машина... —

словно умоляя сына понять и повременить, говорил отец.— Отвезу в один горный аул и вернусь. Не сердись, сын, ты же у меня терпеливый...

Он как-то неловко опустил на корточки, обнял мальчонку и тесно прижал его к своей груди. А когда почувствовал его всхлипы, угрюмо добавил:

— Ну-ну... не хнычь, брат, ты же у меня джигит...

Мужчина поднялся во весь рост, широкой, пропахшей бензином и маслом ладонью погладил сына по голове, виновато посмотрел на врача, развел руками, мол, ничего не поделаешь — работа, и твердо сказал:

— Мне пора. Завтра, Бог даст, в это же время буду. До свидания, сын.— Он поцеловал мальчика в лоб и также медленно, медвежьей походкой вышел из приемной.

Мальчик тоскливым взглядом проводил отца, потом его машину, а затем повернулся и безучастно направился в свою палату, таща за собой сетку, из которой высыпались и катились по коридору его любимые мандарины...





Хрустит под ногами просохшая за ночь песчаная корка. Хруп... хруп... Утро улыбается мне зарей, только что рожденной Каспием.

Вот ее лучи скользнули по берегу, по серебристой ленте железной дороги и заиграли в янтарных гроздьях виноградных плантаций.

Невольно думаю, почему даже на одной лозе гроздья, как и люди в одной семье, разные, хотя солнце, как справедливая мать, равно одаривает каждую?..

* * *

Тревожно заголосив, прошел поезд, разбудив утреннюю тишину. Впереди показалась рослая мужская фигура. Шел он неторопливой, но уверенной походкой, как человек, который давно уже знает, куда он идет и что будет делать.

Мы поравнялись. Это был пожилой мужчина. В глубоких морщинах лицо. Удивительно

живые глаза. Из-под промасленной кепки серебрились сединой виски.

— Доброе утро, дедушка!

Он с любопытством посмотрел на меня и ответил:

— Здравствуй, сынок!

— Куда вы в такую рань?

— На работу.— И, глубоко вздохнув, повторил: — На работу...

Затем, будто изучая, внимательно глядел на меня и продолжал:

— А ведь на пенсию меня проводили, с почестями... Месяц сидел дома, все дела по хозяйству сделал, потом без работы оказался. Всю жизнь со старухой в мире прожил, а тут — на тебе, поругался... от безделья. Ну, думаю, старик, хватит: не тебе на печи сидеть и кости греть, не из того теста слеплен, надо идти на работу... Вот теперь опять хожу...

И, спохватившись, добавил:

— Ну вот я и дошел...

Мы попрощались. И неожиданно, широко переступая через рельсы, старик бодро зашагал дальше. Спина у него была сутулая, но шагал он привычно и легко, как человек, который немало прошел по земле. И немало пройдет...

* * *

...Недалеко от контрольного пункта колхоза я заметил две фигуры: мужчину и мальчика, с мешками. Шли они быстро, будто их кто подгонял, а из мешков капала жидкость, оставляя след.

Я хотел было пройти мимо, но, увидев лицо мальчика, страдальческое выражение его глаз, остановился.

— Дай мешок, я помогу. Из сада? — спросил я.

— Да, винограду тут набрали, подзаработать надо...

— И не боитесь? Вас же поймать могут.

— Конечно могут... — сплунув, проговорил мужчина. — Караульщики много стало. Стараются...

Он тяжело закрихтел, подбросил мешок и ускорил шаг.

Меня передернуло. Я опустил груз и сказал:

— Дальше не понесу!

— Ты что, устал? Да я тебе заплачу... — Мужчина залез в карман, вынул пачку замусоленных денег и протянул мне измятый рубль.

— Неси сам! — твердо сказал я.

— Вот тебе на... — в недоумении остановился он, пряча в карман рубль. — Ты хоть ребенка пожалей, трудно ему...

Со злостью взвалил мешок на плечо: «Ишь, заботливый какой!»

Минут пять шли молча.

— Теперь близко, — тихо проговорил мальчик и взял у меня мешок. — Спасибо.

На меня глянули его не по-детски грустные глаза...

* * *

Рядом со мной быстро шагал молодой железнодорожник, а впереди семенила сухая как жердь старушка. Она шла с базара. Ей было тяжело нести свою поклажу, и она перекладывала свою ношу из одной руки в другую.

— Разрешите, бабушка, я вам помогу,— услышал я неожиданно.

— Да что ты, сынок...

Железнодорожник взял у старушки сумку и пошел рядом.

Шли молча.

Она потянулась к сумке:

— Во я и...

— Ничего, я вас доведу...

— Что вы! Лишнее беспокойство вам... Спасибо, сынок!

Старушка попрощалась, взяла сумку и проворно зашагала к дому.

— Знакомая? — спросил я железнодорожника, прикуривая сигарету.

— Соседка...

— Видать, добрая...

— У-у... ведьма,— весело добавил он.

* * *

День шел к концу. Где-то за старой крепостью устало пряталось солнце. Оно отслужило смену.



Не знаю, какая мысль точила его сознание, будоражила его утомленный мозг, но он тихо, даже не шепотом, одними только губами, кого-то в чем-то убеждал, доказывал, будто в этом и был заключен весь смысл его жизни. При этом лицо его постоянно менялось: то его карежили уродливые гримасы, то становилось похожим на лик Христа, постигшего великую тайну бытия.

Потом, утомившись, он оглядывался и тихо хихикал.

На этот раз, когда он подошел к скамейке, там уже сидели: бывший учитель математики — пенсионер Ошир, сосед по двору, молчаливый бухгалтер Аслан и шапочник Бобо — прямодушный, ворчливый старик, считавший, что жизнь оказалась для него не ласковой матерью, а злой мачехой.

— Хи-хи-хи,— усевшись к этой тройке, захихикал он и сказал: — Ты знаешь, Ошир, я хочу умереть...

— Умереть? — будто продолжая давно

начатый разговор, переспросил Ошир и улыбнулся. — Ну это дело простое, брат. Привяжи к шее камень и кидайся в море, тут тебе и каюк...

— Хи-хи-хи... не-е-т, — смеясь, возразил он, — так я не умру... голова вниз, а ноги вверх... не-е-т...

— Ну, тогда прими яд, — подмигнув товарищам, предложил Аслан.

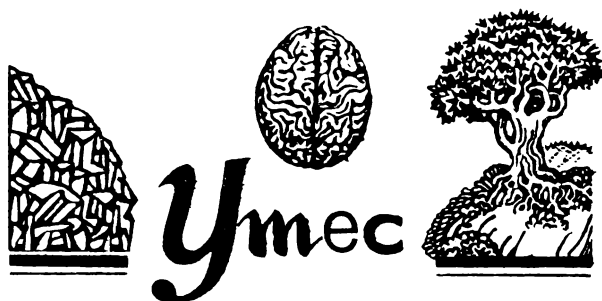
— Хи-хи-хи... — снова захихикал он, направив куда-то тупой, бессмысленный взгляд. — Так я не умру, не-е-т, внутри все сгорит, а я останусь живым. Так не умирают... хи-хи...

Рядом стоит телеграфный столб. Его врыли сегодня. На нем нет еще даже скоб и изоляторов. Прямой, ровный, он напоминает выросший из земли гвоздь.

— Вот, повесься на этом столбе! — деловито говорит Бобо, будто предлагает ему только что сшитую шапку.

Он повернулся вдруг к старому шапочнику и посмотрел на него ясными, просветленными глазами, будто с них сняли черную повязку, закрывавшую от него мир. В них были какой-то удивительный блеск, человеческая мысль — взгляд гения, который вот сейчас, сию минуту, сделал величайшее открытие. На старика Бобо смотрели глаза поэта, нашедшего в этот миг меткое слово или нужный образ.

— Разве можно на прямом столбе повеситься? — только и спросил он.



У подножья горы, в оцепенении, стоит на коленях почерневший от времени утес. Глубокие морщины прорезала жизнь на его каменистом теле. Напоминает он молящего о прощении безутешного грешника, стыдливо опустившего голову, без папахи — извечного символа гордости.

Что же произошло? Какая сила заставила его преклонить колени и молить о прощении гору?

...Наверное, этот же утес, изуродованный сейчас временем, некогда стоял здесь во всем своем величии, молодой и порывистый, устремив острие своей гранитной вершины ввысь. Смеялся, видно, утес над тупым гребнем горы, едко издевался над ее верблужьей неуклюжестью, над извилинами ее седых вершин.

Молчала гора — сильные всегда терпеливы.

...Налетали ветры, пощечиной били дожди: время сбило с утеса папаху, а потом вцепи-

лось острыми зубами лихолетий в его отвесную грудь и спину, нанося им глубокие раны.

Боролся утес, дитя природы, не принимая ничего всерьез, считая все случайностью, дерзостью судьбы.

А жизнь... жизнь делала свое, оставляя на нем змеиные борозды морщин. Ибо мудрость — это не порыв в высоту, и даже не морщины впоследствии, а *извилины*.





Высоко в горах, на крепкой лиственнице, что доверчиво росла в расселине огромной скалы, угнездился орел. А у подножия, под самой скалой, как бы наперекор страху и буйным проделкам старой горы, разместился аул.

Привыкшие к хищным повадкам этих сильных птиц, чабаны были удивлены, когда однажды орел бесстрашно вступил в бой со стаей волков, черной тучей окруживших отару.

Потом, когда раненый, ослабевший орел прилетал к ним в последующие дни, они не удивлялись, привыкли. Благодарные за помощь, чабаны подкармливали орла, подбрасывая куски мяса.

Ведь сильные всегда должны быть добрыми.

И будто понимая это, приветливо размахивая своими могучими крыльями, то доверчиво близко опускаясь вниз, то вновь взлетая ввысь, орел ежедневно, как верный страж,

долго кружил над отарой, выискивая волков. Он за что-то очень не любил их.

Эта бессловесная дружба человека и птицы продолжалась.

В один из ясных летних дней на глазах ошеломленных чабанов орел черным камнем упал на скалы.

Не ведая зла, он близко подлетел к случайно забредшему в эти края охотнику, приняв его за местного жителя. А тот, хотя и был человеком, не думая, вскинул ружье и выстрелил.

Орел встrepенулcя, удивленно, с какой-то затаенной болью взглянул на охотника, будто спрашивал: «За что?», потом, собрав последние силы, взлетел, и зажав широким крылом истекающую кровью грудь, камнем полетел вниз.

...Теперь я знаю, почему сильные иногда бывают злыми. Из тех орлиных краев охотника выпроводили и забыли о нем.

Орла же помнят и поныне!





Маленький, юркий, прячась в тени, он бесшумно бежал, поминутно оглядываясь по сторонам. Услышав шорох, останавливался, снова прислушивался — нет ли погони — и ускорял бег.

Неожиданно загоревшийся уличный фонарь выхватил его фигуру из темноты, осветив что-то блестящее в зубах. Он весь съежился, ошалело попятился назад, потом резким прыжком подался вперед, прячась в новый спасительный лоскут тени.

Им овладел страх, и сила страха за жизнь сделала его осторожным. Каждый шаг, каждое движение выдавало его стремление стать бесшумным, самому превратиться в эти минуты в тень.

Вор — самое трусливое существо на свете! Он боится своей тени и даже шороха за спиной.

За углом его поймали. Он не отбивался, не кричал, а как-то сразу обмяк, уронил ношу, бросился к ногам тех, в чьи руки попал,

и стал их облизывать. Жалкий, притихший, скулящий, он готов был принять наказание.

— Да это ваш Пөлкан! — воскликнул мальчуган, обращаясь к своему другу. — Я-то думаю, кто это утащил кусок мяса со стола... Черт с ним, отпустите его.

И под смех детворы собака бросилась бежать, снова прихватив в зубы ворованную кость.





Волны

Длинная, зеленовато-синяя скала походила на огромного кита, выброшенного на берег. Она растянулась на песке, словно застыла от холодного прикосновения моря.

Одинокая волна бьется о скалу, сбрасывает на нее пену злости, разбивается в бессильные капли.

Ничего удивительного. Одна волна не может одолеть огромную скалу. Не выдерживают здесь одиночки. Скала разбивает их. Но когда волны бегут рядом, держась друг за друга, задние взбираются передним на плечи — и скала уже не преграда. Она им не страшна!





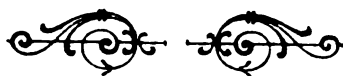
В приморском сквере, выстроившись в ряд, росли молодые клены. Посаженные в один день, они отличались друг от друга, как будто кормили их разные матери. Один, нарушив строй, наклонился в сторону, будто таким и родился. Другой вел бесконечную борьбу за жизнь с подпиравшим его забором, который давил на ствол, корябал и гнул его. И иногда, казалось, не выдержит молодое деревце. Но клен не сломался, выдержал, еще более окреп, правда, теперь выглядел горбатым, некрасивым. Третьему чья-то недобрая рука рассекла крону, но он, собрав весь запас сил, остался жив. Все деревья явно проигрывали в сравнении с одним — рослым и красивым. Стояло оно, стройное и тонкое, словно щеголь.

— Во красавец! — говорили жители о клене и любовались лишь им одним.

Так и рос этот клен любимцем, на зависть остальным.

Однажды, когда море разбушевалось и ветер обрушился на клены в сквере, они согнулись, застонали, а тот, что был красивее других, вдруг пугливо закрипел, словно где-то внутри него рвались струны, и рухнул на землю. Оказалось, у него был гнилой корень.

* * *



СЛОВАРЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН, ТЕРМИНОВ, ОБИХОДНОЙ ЛЕКСИКИ

А б а с и — серебряная монета в древнем Иране и Закавказье.

А в д а л (*тат.*) — в давние времена так называли отшельников, а в настоящее время — неряшливых, неухоженных людей, по каким-либо причинам сторонящихся общения с другими, любящих одиночество и т. д. Иногда это прозвище становится нарицательным.

А д а т — обычное право, совокупность обычаев, которыми руководствуются народы Кавказа и Средней Азии в своей повседневной жизни.

А з а н — утренний и вечерний призыв муэдзина к молитве.

А к с а к а л — белобородый почтенный старик.

А л б а н и я (Кавказская) — древнее государство союза (в т. ч. каспийских) племен в Восточном Закавказье.

А л б и с (*тат.*) — дьявол, сатана.

А л ь ч и к и — бабки, мелкие бараньи косточки, которыми играют горские дети.

А р б а — двух- или четырехколесная телега на Кавказе.

А р а б а ч и — тот, кто управляет арбой.

А т а — отец.

А ш у г — певец, поэт.

Б а л х — богатая провинция древнего Афганистана.

Б е к — властитель, господин. В средние века у народов Закавказья и Дагестана — феодал-землевладелец.

Б е ш — лесной хворост.

Б е ш ч и (*тат.*) — тот, кто собирает хворост.

Б е ш м е т — верхняя распашная мужская одежда из сукна, в талии собирается в складки и подпоясывается.

Б и ж (*тат.*) — незаконнорожденный ребенок, т. е. рожденный вне брака.

Б о г б о н (*тат.*) — садовод.

Б у х а р с к а я п а п а х а — шапка из шкурок бухарского каракуля, особенно ценящаяся в Дагестане.

В а х — возглас удивления.

Векиль — высший сановник, своего рода левая рука падишаха, второй министр.

Великие горы — так в древности называли Кавказские горы.

Визирь — высший сановник, своего рода правая рука падишаха, первый министр.

Вилайет — в простонародье — страна, применяется в основном тогда, когда речь заходит о других странах.

«**Вот уже и крепость видна...**» — в верхней части города Дербента, который расположен меж отрогами Кавказских гор и Каспийским морем, стоит крепость «Нарын-кала», построенная Сасанидами — царями Персии.

Гачаг — разбойник.

Гобо — старинное женское платье с коротким рукавом и широким поясом, с нанизанными монетами.

Говол (чувал) — большой мешок.

Гуны — кочевой народ, обитавший с IV века в Прикаспийских степях, часто совершал набеги на юго-западные страны.

Деркем — бытует мнение, что помимо арабской серебряной монеты в Иране были еще и золотые.

Дервиш — странствующий монах у мусульман, давший обет бедности. В народе дервишей называют мудрецами.

Джалганская гора — одна из вершин отрогов Кавказа в нескольких верстах к югу от Дербента, получившая название от одноименного села, расположенного на ней, или наоборот.

Достан — рукописная книга.

Душман — враг, неприятель, противник.

Железные ворота — так переводится с персидского название города Дербента (*дср* — «дверь», *бенд* — «обруч», «замок» и т. д.).

«**Жить до цветения камней...**» — имеется в виду, что жизнь не бесконечна.

Захриман — нечто схожее со словом «яд», употребляется в основном в случаях, когда речь идет о водке и вине.

Игла Шолума — у татов бытует легенда о знаменитой игле Шолума — портного, покинувшего своего хозяина ради путешествий.

Кабал (Кабала) — столица древней Кавказской Албании.

Кадий — священнослужитель у мусульман, выполнявший еще и роль судьи.

К а з а н — медный котел.

К а й ф (кейф, кайфовый и т. д.) — быть в кайфе, быть в состоянии эйфории.

К а р а в а н - с а р а й — постоянный и торговый двор в городах и на дорогах Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии.

К е л е б е б е (tat.) — дословно: бабушка. Наряду со значением имени собственного приобрело еще нарицательное значение.

К е л е д е д е (tat.) — дословно: бабушка. Впоследствии стало также нарицательным существительным.

К л а д б и щ е К и р х л я р — «Сороковник», старинное мусульманское кладбище в Дербенте, в центре которого расположена уникальная гробница, по поверью, в ней покоится Туту-бике.

«**К л я н у с ь э т и м с в е т о м !**» — клятва тата-иудея (отголоски зороостризма), и по сей день считающего свет, огонь и солнце высшим божеством.

К у н а к — гость. Для жителя Кавказа гость издревле считается самым почетным человеком.

К у н а ц к а я — комната для гостей.

К у н ч о л и (tat.) — младший сын (образно говоря: вода на дне колодца), который, как правило, обзаводясь семьей, остается жить в доме отца, чтобы не оборвалась нить фамилии дома.

К у ь м у ь р (кюмюр) — древесный уголь.

К у т у м — каспийская рыба семейства частиковых.

М а а ф е — носилки для покойников у мусульман.

М а х а л а — в старину это было название квартала, в последующее время — улицы.

М е р в а н — известный полководец Арабского халифата.

М и н а р е т — башня, с которой призывают мусульман к молитве.

М о л л а (мулла) — мусульманский священник.

М о р е Х а з а р с к о е — так называлось Каспийское море во времена владычества хазар.

М о р е В о с т о ч н о е — одно из названий Каспия.

М у г а н ь (муган) — муганская степь, часть **Б у р а - А р а к с к о й** низменности в Азербайджане.

М у э д з и н — служитель мечети, молла, с минарета призывающий мусульман к молитве.

М ю ш к ю р — в старину так называлась большая провинция между Азербайджаном и Дагестаном, где жили «мускуты» (как считают ученые, ираноязычный народ), а в начале XX века это

название сохранилось за одноименным селением в Дербентском районе, которое затем переименовано в сел. Ньюджи.

Намаз — молитва.

Намус — честь, совесть, репутация.

Нукер — шахский слуга, телохранитель, воин, дружинник.

Овосуне (тат.) — сказка.

Ораг — название села в Сулейман-Стальском районе Дагестана, в прошлом проживали таты-иудеи.

Отделенческая столовая — виноградарские совхозы Дагестана, делятся на отделения, а те, в свою очередь, на бригады. Речь идет о столовой для рабочих отделений.

«Отнесенный на плечах товарище й...» — в маленьких городах и селах таты по сей день, традиционно, **положив** покойника на носилки, несут его на плечах до кладбища.

Падишах — титул монарха, царя в странах Ближнего и Среднего Востока.

Перс — иранец. Гонимые за передовые идеи из Ирана, часть из них после Октябрьской революции в России переселилась в Азербайджан и Дагестан. Некоторые из них успешно занимались мелкой торговлей.

«Птица счастья» — у татов этой птицей считают орла (гуш). По поверью, сохранившемся в фольклоре, если после смерти падишаха у него не осталось наследника по мужской линии, то выпускали «птицу счастья», и того, кому она сядет на голову, избирали падишахом.

«Покойника омыли, завернули в саван, положили на специальные носилки...» — и отнесли на плечах на кладбище. Таковы традиционные правила похорон у татов.

Раби (раввин) — иудейский священник.

Ражбер — крестьянин.

Райят — податное, зависимое от беков и ханов население.

Сабурсуз (тат.) — нетерпеливый.

Саид — известный полководец Арабского халифата.

Сардар — наместник.

Сарыбугда — сорт великолепной пшеницы, хлеб из которой славился аппетитным запахом.

«Святое резанье животных...» — мясо из рук раввина считается чистым, святым.

«Себэхътуь эхэйрбу» (тат.) — Доброе утро. Слово «хэйр» дословно переводится как «добро» или «доход».

Севдегер — деловой человек, купец.

Секатор — инструмент для обрезки растений.

«Схватив за конец доски...» — завернутого в саван покойника, по обычаю татов, кладут в могилу прямо на землю, защитив тело перед засыпкой могилы досками или бревнами на подставках с двух сторон. В данном случае, когда Сосун, очистив могилу от земли, хотел добраться до гобо, он схватил за конец одной из досок, чтобы поднять ее.

Табасаранец — представитель одной из народностей Дагестана, а табасаранки — большие мастерицы по ковроткачеству.

Тавриз (Тебриз) — крупный город Ирана, основан Сасанидами.

Тандыр — круглая глинобитная печь с узким устьем для выпечки чурека, хлеба.

Тат (таты) — небольшая народность, проживающая в основном в Дагестане, Азербайджане и Иране. Татский язык относится к иранской группе индоевропейской семьи языков. При сравнительно небольшом диалектном различии они делятся на иудеев, мусульман и христиан.

Тахта — широкий низкий диван без спинки, покрытый ковром.

Тутовое дерево — шелковица, тутовый шелкопряд.

Тухум — примерно то же самое, что род, ряд поколений, происходивших от одного предка.

«Ты что, из Касумкента?» — селение Касумкент находится в 50 км от Дербента, естественно, сельчанин далек от городских событий. В данном случае — выражение горожанина, означающее: мол, ты что, с Луны свалился?

Усто (тат.) — мастер.

Фазтон — двухколесный конный экипаж с открывающимся верхом.

Филоксер — вредитель виноградников.

Хавуз — искусственный родник.

Харамзаде — нечестивец, негодник, паршивец.

Хайван — край виноградного участка, где под тенью деревьев или у арыка в жаркую погоду отдыхают виноградары.

Хазары — тюркоязычный народ, образовавший в VIII—X веках мощный каганат (государство). В начале своего господства по своему могуществу не уступал ни Арабскому халифату, ни Византийской империи.

Халвачи — мастер по изготовлению халвы.

Ханум — уважительное обращение к женщине.

Хинкал — дагестанское блюдо — суп из баранины с добавлением раскатанного и разрезанного на квадратные кусочки **теста**.

Хорезм — древнее государство Средней Азии с **центром** в низовьях Амударьи.

Худо (тат.) — бог.

Хурджин — наплечная **дорожная сумка**, своего рода вещевой и пищевой мешок.

Хэлефме (тат.) — сын мой.

Хум, хуьм (тат.) — глиняный сосуд для **хранения вина**.

Чайхана — чайная.

Чанах (тат.) — плоский деревянный поднос.

«**Черной сажей** покрыл свою одежду, **лицо** и руки...» — у татов, как и у других народов Востока, существовал обычай: в знак траура обсыпать себя золой или садиться на золу у холодного камина.

«**Чтоб без бороды он остался...**» — т.е. покрыл себя позором.

Чох(а) — вид черкески со стоячим воротником, рукавами до локтя; подпоясывается кушаком.

Чурек — круглый хлеб, выпекаемый в тандыре.

«**Чуь хэбери?**» (тат.) — Как дела? Как живешь?

Шамайка — вид каспийской рыбы.

Шафран — ароматные желтые яблоки, цвет шафрана — желтый.

Шахзаде — сын падишаха, принц.

Шемей Ньюгдинец — действительный случай, который произошел в селении Мюшкюр.

Ширван — историческая область и феодальное государство в Азербайджане. Одно время была провинцией Ирана.

Шуринские ворота — северные ворота Дербента, через которые осуществлялся в старину выезд в сторону Темирхан-Шуру — столицы Дагестана.

Экбатан — древнегреческое название города Хамадан в Иране.

Эршефи — старинная иранская золотая монета.

Ятаган — рубящее и колющее оружие у народов Ближнего и Среднего Востока.

СОДЕРЖАНИЕ

Несколько слов о книге. <i>Н. И. Алиев</i>	5
Тайна	9
Болезнь	16
Окровавленный мешок	21
Лекарь	27
Встреча	36
Рыбачка	50
Чума	57
Платочек	64
Волчий пир	73
Долг платежом красен	78
Шахский плов	85
Коварный бек	93
Истина	100
Цена слова	105
Садовая пила	115
Свадебный выстрел	117
Краснокожая груша	121
Беглянка	127
Шелбет смеется	131
Синяя коса	137
Язык мой — враг мой	141
Открытие	153
Вдовушка	156
Белый Дом	158
Чемодан	162
Кислое молоко	167
Мельница	170
Сельский Хемингуэй	173
Секрет долголетия	179
Что дашь, то и возьмешь	185
Смерть Адильшаха	192
Маафе	204
Твой папа на зурне играл?	207
Забывчивый	214
Пятнышко	216

Исповедь	228
Тайна тетушки Басмат	240
Святой муж	247
Сон в руку	258
Зуб	265
Шурка	271
Фомка	277
Рыбак	281
Посетитель	286
Леденцы	289
Грехопадение	292
Родник	294
Мама	296
Сигнал	298
Гость	301
Хозяйка города	305
Страж	309
Злоумышленник	312
Мыльный пузырь	316
Зайчик	320
Мандарины	325
Янтарные гроздья	329
Гений	333
Утес	336
Орел	337
Вор	339
Волны	341
Любимец	342
Словарь собственных имен, терминов и обиходной лексики	344

Литературно-художественное издание

Дадашев Михаил Борисович

СУЕТА СУЕТ

Притчи, рассказы

Редакторы-корректоры Л. Т. Юркова, И. Г. Прокopenko

Художник М. М. Горлов

Технический редактор Л. И. Прокopenko

ЛР № 010238 от 27.04.92

Сдано в набор 23.10.95. Подписано в печать 08.12.95.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.

Гарнитура школьная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 18.48.

Уч.-изд. л. 11,98. Тираж 5000 экз.

Издательский центр «Эль-Фа»

при полиграфкомбинате им. Революции 1905 г.

Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.

Мининформпечати КБР

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 33

